



Александр Дюма



АДСКАЯ БЕЗДНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВНЕШНЕГО СОВМЕЩЕНИЯ

Александр Дюма

Адская бездна. Бог располагает

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6980271

Адская Бездна. Бог располагает / Александр Дюма ; пер. с фр. И. Васюченко, Г. Зингера ; предисл. В. Гитина ; худож. Н. Переходенко.: «Книжный клуб» «Клуб семейного досуга»»; Белгород, Харьков;

2011

ISBN 978-966-14-1919-2

Аннотация

Одни герои – два захватывающих романа! Наследник состояния Юлиус и незаконнорожденный Самуил неразлучны с детства. Однажды, выполняя поручение тайного общества, в котором оба брата состоят, они оказываются в шаге от гибели. Если бы не девушка-сирота, Адская Бездна поглотила бы их. Спасительница указывает им путь. Юлиуса он приведет к венчальному звону, но завистливый Самуил найдет способ получить то, что ему не принадлежит. Он заставит жену брата провести с ним ночь, но и этого ему покажется мало! Неужели Самуил решится на преступление, достойное Каина?

Содержание

Слово к читателю	5
Адская Бездна	7
I	7
II	12
III	17
IV	21
V	25
VI	28
VII	31
VIII	33
IX	37
X	40
XI	44
XII	48
XIII	50
XIV	53
XV	56
XVI	59
XVII	63
XVIII	67
XIX	71
XX	75
XXI	79
XXII	83
XXIII	86
XXIV	89
XXV	94
XXVI	99
XXVII	103
XXVIII	106
XXIX	109
XXX	112
XXXI	114
XXXII	118
XXXIII	122
XXXIV	124
XXXV	127
XXXVI	130
XXXVII	133
XXXVIII	135
XXXIX	139
XL	141
XLI	145
XLII	147
XLIII	150
XLIV	153

XLV	157
Конец ознакомительного фрагмента.	158

Александр Дюма Адская Бездна. Бог располагает

Слово к читателю

Александр Дюма (1802–1870), один из самых прославленных романистов в истории мировой литературы, оставил богатое творческое наследие.



Романы «Адская Бездна» и «Бог располагает» объединены сюжетной линией, первая часть которой разворачивается на излете наполеоновской эпохи, а вторая – в период французской революции 1830 года.



Главные герои дилогии – Юлиус фон Эбербах и Самуил Гельб – олицетворяют стороны извечного конфликта Добра и Зла. Они безусловные антиподы, и если одним из них движет пылкая любовь, то другим – холодная, пронизывающая всю его мятежную душу ненависть, и не случайно автор, характеризуя Самуила, обращается к образу мильтоновского Сатаны, провозгласившего зло своим добром.

Юлиус и Самуил при этом не только существуют на определенном историческом фоне, но и являются его действующими элементами, оказывающими заметное влияние на события

первой трети XIX столетия, с его каким-то конвульсивным брожением умов, с безумными социальными идеями, с беспощадным буржуазным прагматизмом и столь же беспощадным политическим радикализмом, избравшего путеводной звездой головокружительную карьеру некоего артиллерийского капитана, который благодаря стечению обстоятельств, харизме и фантастической напористости, замешенной на крайнем цинизме, стал императором Наполеоном Первым.

В то время во Франции активно действовали ячейки тайного революционного «Общества карбонариев», избравшего своей целью свержение королевской династии Бурбонов. При этом некоторые из карбонариев, будучи бонапартистами, желали видеть на престоле сына Наполеона, другие же были приверженцами династии Орлеанов, а немногие среди карбонариев республиканцы вообще не могли четко определить конкретную цель своей подпольной деятельности.

И вот 27 июля 1830 года в Париже произошло вооруженное восстание.

29 июля толпа мятежников захватила Тюильрийский дворец.

Александр Дюма принимал самое непосредственное участие в этом штурме, следствием которого стало отречение от престола Карла X и провозглашение королем Луи Филиппа Орлеанского.

В романе «Бог располагает» этот штурм описывается достаточно подробно, причем пером очевидца, который очень скоро, когда миновала эйфория мятежа, осознал горькую истину: революция ничего не меняет в сущности бытия, разве что его декорации и списочный состав правящей верхушки. Все прочее остается таким же, каким было до массового кровопролития, в итоге оказавшегося абсолютно бессмысленным.

И все же не совсем таким, если учесть тот факт, что в данном случае имело место существенное ужесточение режима, вследствие чего многие участники июльских событий, в том числе и Дюма, были вынуждены на некоторое время покинуть родину, придя к неутешительным выводам, предвосхищавшим известный афоризм Отто фон Бисмарка: «Революцию подготавливают гении, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются проходимцы».

Все иные коллизии диалогии вполне отвечают традиционным представлениям о прозе Александра Дюма: страстная, испепеляющая душу любовь и поражающее своей феноменальной низостью коварство, честность и вероломство, месть и всепрощение, мрак тайны и свет истины, преступление и наказание, со всей наглядностью подтверждающее известное выражение: «Человек предполагает, а Бог располагает».

Чувствительный и благородный Авель в итоге одерживает блистательную победу над бездушным и погрязшим во всех мыслимых пороках Каином, победу во имя Добра, Справедливости и Любви, без которых жизнь утрачивает какой-либо смысл.

Александр Дюма свято верил в неизбежность такой победы, и этой верой пронизано все творчество великого романиста, который, по словам Виктора Гюго, «оздоравлил и облагораживал умы каким-то радостным и бодрящим светом».

Так пусть же этот свет никогда не погаснет.

В. Гитин, литератор

Адская Бездна



I

Песнь среди раскатов грома

Кто были эти двое всадников, заблудившиеся среди ущелий и скал Оденвальда в ночь на 18 мая 1810 года? Даже ближайшие друзья, случись им оказаться там, не узнали бы их в трех шагах: столь непроглядная тьма царствовала вокруг. Тщетно было бы искать в вышине хоть один-единственный лунный луч или слабый отблеск звездного света: небо было еще чернее, чем земля, и тучи, что тяжело катились по нему, словно валы в бушующем океане, казалось, грозили новым потопом.

Размытый сгусток мрака, движущийся по склону громадного и неподвижного, но столь же черного сгустка, – вот все, что даже самый острый глаз сумел бы различить при виде этих двух всадников. По временам к свисту бури в ветвях сосен примешивалось испуганное конское ржание или сноп искр от удара по камню вдруг вырывался из-под железной подковы – это было все, что могли уловить взгляд и слух путников.

Гроза между тем неумолимо приближалась. Порывы ветра, налетая один за другим, несли с собой тучи пыли, швыряя их в глаза всадникам и лошадям. Ветви деревьев корчились и скрипели под этими бешеными накатами; со дна долины неслись жалобные стоны. Казалось, этот звук перекачивался по скалам, с трудом взбирался по склону горы, содрогавшейся и словно готовой рухнуть. И всякий раз, когда ураган, будто грозное исчадие земных недр, с воем рвался в небеса, обломки скал, выломанные из своего гранитного ложа, и вековые деревья, вырванные с корнем, обрушивались в пропасть. Их падение напоминало прыжок самоубийцы, безрассудно устремившегося навстречу гибели.

Нет ничего страшнее, чем разрушение, совершаемое во тьме, и ничто не наполняет душу таким ужасом, как грохот среди мрака. Опасность, которую невозможно увидеть, не поддается оценке разума и разрастается до чудовищных размеров, ибо воображение, охваченное страхом, не ведает границ между невыносимым и возможным.

Внезапно ветер стих, шум бури умолк. Воцарилась глухая тишина, все вокруг замерло в томительном ожидании грозы.

Среди этого безмолвия вдруг прозвучал человеческий голос. Он принадлежал одному из всадников:

– Черт возьми, Самуил! Надо все же признать, что тебе взбрела в голову злосчастная мысль! Покинуть Эрбах в этот час и в такую погоду, вместо того чтобы провести ночь в превосходной гостинице, лучше которой нам ничего не попадалось за всю эту неделю, с того самого дня, как мы выехали из Франкфурта! У тебя был выбор между теплой постелью и ураганом, между бутылкой великолепного хохгеймера и бурей, в сравнении с которой сирокко и самум показались бы веянием зефира. И что же? Ты выбираешь ураган!.. Тпру, Штурм! – прервал свои упреки молодой человек, чтобы удержать коня, прянувшего в стору. – Тпру! – И он продолжал: – Добро бы хоть нас ожидало что-нибудь приятное, такое, ради чего стоит поторопиться! Если бы мы, например, спешили на соблазнительное свидание, где с восходом солнца нас бы встретила улыбка возлюбленной... Но любовница, что откроет нам свои объятия, – это всего лишь старая зануда, имя которой Гейдельбергский университет. А свидание, предстоящее нам, – это, по всей вероятности, дуэль, причем смертельная. И как бы то ни было, нас ждут не ранее двадцатого. Ох, чем больше думаешь об этом, тем яснее становится, что мы поступили как настоящие безумцы, не оставшись там, где были свет, тепло, крыша над головой... Но так уж я устроен, что вечно тебе уступаю. Ты ведешь, а я слеую за тобой.

– Так ты еще жалуешься! – отозвался Самуил с легкой иронией. – А между тем я ведь прокладываю тебе путь. Если бы я не шел впереди, ты бы уже раз десять свернул себе шею, свалившись с откоса. Ну-ка, ослабь поводья да покрепче обопришься на стремяна: тут поваленная сосна перегораживает нашу тропу.

На мгновение стало тихо, было только слышно, как лошади одна вслед за другой перепрыгнули через препятствие.

– Гоп! – воскликнул Самуил, а потом, обернувшись к спутнику, прибавил: – Ну, Юлиус, мой бедняжка, что еще скажешь?

– Скажу, что твое упрямство все равно ужасно, – продолжал Юлиус, – и у меня есть все основания на него жаловаться. Ведь нам объяснили, как следует ехать, а ты, вместо того чтобы держаться берега Мумлинга, речки, что вывела бы нас напрямик к Неккару, вздумал сократить путь, ссылаясь на свое знание здешних мест, где на самом деле ты отроду не бывал, я в этом уверен! Я-то хотел взять проводника, но куда там! «Проводник? – говорил ты. – Ба! На что он нам? Я же знаю дорогу». Ну да, ты знаешь ее так хорошо, что мы по твоей милости заблудились в горах, понятия не имея, где север, где юг, равным образом лишённые возможности возвратиться назад и двигаться вперед. Теперь придется до утра мокнуть под дождем, а он вот-вот хлынет. И под каким дождем!.. А, вот, кстати, и первые капли... Что ж, смейся, ты ведь привык смеяться над всем на свете или, по меньшей мере, стремишься к этому.

– А почему бы мне не смеяться? – отвечал Самуил. – Разве не уморительно слушать, как большой мальчик двадцати лет, гейдельбергский студент, хнычет, словно девчонка-пастушка, не успевшая вовремя пригнать свое стадо домой. Смеяться – невелика хитрость, мой милый Юлиус. Нет, я придумал кое-что получше. Я буду петь!

И молодой человек в самом деле запел резким вибрирующим голосом. Это была странная песнь – скорее всего импровизация; во всяком случае, она имела то достоинство, что как нельзя более подходила к обстоятельствам:

Я над ливнем смеюсь:
Что сей насморк небес
Для души, где отчаянья бес
Заключает со скукой союз?

Едва Самуил успел закончить первый куплет, как с последним отзвучавшим словом ослепительная молния, разорвав полог туч, наброшенный на небесный свод бурей, озарила своим великолепным и мрачным сиянием окружающий ландшафт до самого горизонта, вырвав из темноты фигуры двух всадников.

На вид они казались ровесниками: им было от девятнадцати до двадцати одного года. Но на этом их сходство кончалось.

Первый – вероятно, Юлиус – был голубоглаз и светловолос, бледен, элегантен и при среднем росте превосходно сложен. Его можно было бы принять за юного Фауста.

Второй, судя по всему, Самуил, высокий и худощавый, своими изменчиво-серыми глазами, тонким насмешливым ртом, чернотой волос и бровей, высоким лбом и острым крючковатым носом чрезвычайно напоминал Мефистофеля.

Оба были в темных коротких рединготах, перехваченных на талии кожаным поясом. Костюм дополняли узкие панталоны, мягкие сапоги и белая фуражка с цепочкой.

О том, что молодые люди студенты, мы уже знаем из их разговора.

Застигнутый врасплох и ослепленный вспышкой молнии, Юлиус вздрогнул и зажмурился. Самуил же, напротив, вскинул голову, и его спокойные глаза отразили сверкание молнии. Она погасла – и тотчас все снова погрузилось в непроглядную тьму.

Не успел еще исчезнуть последний отблеск молнии, как грянул сильнейший удар грома. По горным ущельям загрохотало, покатилося эхо.

– Самуил, – произнес Юлиус, – милый мой, по-моему, нам бы лучше остановиться. Двигаясь, мы рискуем притянуть к себе молнию.

В ответ Самуил расхохотался и вонзил шпоры в бока своего коня. Животное стремглав ринулось вперед, в галопе высекая искры подковами и обрушивая в пропасть камни, а всадник снова запел:

Я смеюсь: что ты значишь, зигзаг
Жалкой спички, дрожащей меж туч,
Пред огнем, что, и грозен и жгуч,
Полыхает в жестоких очах?

Проскакав шагов сто, он резким рывком развернул коня и галопом же возвратился к Юлиусу.

– Во имя Неба! – воскликнул тот. – Да успокойся же, Самуил! К чему эта бравада? Нашел же время для песен! Берегись, как бы Господь не принял твоего вызова.

Новый удар грома, еще более кошмарный и сокрушительный, разразился прямо над их головами.

– Третий куплет! – вскричал Самуил. – На ловца и зверь бежит, смотри, как мне везет: само небо аккомпанирует моей песне, а гром служит ритуальной.

И тотчас, возвысив голос и перекрывая нарастающий грохот, Самуил пропел:

Я смеюсь над тобою, о гром,
Кашель лета, схватившего грипп,
Что ты стоишь для сердца, где крик
Безнадежной любви заключен?

Гром на сей раз запоздал, и Самуил, запрокинув голову, крикнул:

– Ну же! Где твой отыгрыш, гром? Ты не попадаешь в такт!

Гром не отозвался, но вместо него на призыв Самуила хлынул проливной дождь. Молнии же и громовые раскаты вскоре зачастили так, что следовали друг за другом почти беспрерывно, и теперь им не требовалось ничьих поддразниваний и дерзких вызовов. Юлиуса охватила тревога – чувство, от которого не дано отрешиться и самым безупречным храбрецам, когда разбушевавшиеся стихии являют им свое всемогущество. Его сердце сжималось от сознания всей человеческой ничтожности перед лицом разгневанной природы.

Самуил, напротив, сиял. Его глаза сверкали диким восторгом; приподнявшись на стременах, он сорвал с головы фуражку и махал ею, словно видел, что опасность бежит от него, и призывал незримого врага вернуться. Его веселили струи ливня, бьющие в лицо и стекающие с мокрых волос, и он хохотал, пел, он был счастлив.

– Что такое ты сейчас говорил, Юлиус? – вскричал он, словно одержимый неким странным вдохновением. – Ты жалел, что не остался в Эрбахе? Хотел пропустить эту ночь? Так ты, стало быть, не знаешь, что это за дикое наслаждение – мчаться вскачь сквозь бурю? А я потому и затащил тебя сюда, что предвидел все это. Я надеялся, что гроза разразится, дорогой мой! Весь день я был словно болен, нервы напряжены до предела, и вот я исцелен. Да здравствует ураган! Что за черт, да неужели ты не чувствуешь, какой это праздник? Посмотри, как все созвучно друг другу – буря небесная, вершины гор и земные пропасти, развалины, провалы! Разве тебе уже восемьдесят? Можно ли уподобляться дряхлому старцу, желающему, чтобы все вокруг было таким же тихим и вялым, как его отжившее сердце? Да есть же у тебя страсти, каким бы спокойным ты ни был! Тогда ты должен понять стихии: свои страсти есть и у них. Что до меня, то я молод, мои двадцать лет поют в моих жилах, выпитая бутылка вина играет в мозгу – вот почему я люблю гром. Король Лир звал бурю своей дочерью – я называю ее сестрой. Не бойся, Юлиус, с нами ничего не случится. Ведь я не смеюсь над молнией, я смеюсь вместе с ней. Я не презираю ее, а люблю. Гроза и я – мы словно два друга. Она не причинит мне зла, я слишком на нее похож. Люди считают ее злодейкой, глупцы! О нет, гроза необходима! Тут самое время обратиться к науке. Гроза, мощное электричество, грохочущее и изрыгающее пламя, если кого-нибудь убьет или что-то подожжет, в конечном счете совершит это лишь затем, чтобы придать всему живому новые, свежие силы. Я сам таков: я человек-гроза. Тут самое время обратиться к философии. Я без колебаний готов пройти через зло, чтобы достигнуть доброй цели. Я бы и самую смерть сделал своим орудием, если бы знал, что это пойдет на благо жизни. Здесь одно важно: чтобы крайние поступки были вдохновлены великой целью, способной оправдать самые жестокие средства.

– Ох, Самуил, замолчи! Ты клеветашь на себя.

– Ты говоришь таким тоном, будто вместо «Самуил» готов произнести имя дьявола – «Самиель». Будет тебе, что за ребяческое суеверие! Мы с тобой скачем словно среди декораций «Фрейшюца», так уж тебе и представляется, будто я сам Сатана, Вельзевул или Мефистофель и вот-вот превращусь в черного кота или пуделя... О! Эй, что такое?

Это восклицание вырвалось у Самуила, когда его скакун неожиданно прыгнул в столону и чуть не повалил лошадь Юлиуса.

Должно быть, его что-то испугало на дороге, и юноша наклонился, ожидая новой вспышки, чтобы рассмотреть препятствие. Долго ждать ему не пришлось: небо словно раскололось, и огненная вспышка от горизонта до горизонта залила светом всю округу.

Стало видно, что дорога с одного края обрывается в разверстую пропасть; молния как раз осветила край одного из ее провалов, но и это не позволило молодым людям разглядеть глубину бездны.

– Да, изрядная бездна, – промолвил Самуил, понуждая коня приблизиться к самому краю зияющего обрыва.

– Осторожней! – воскликнул Юлиус.

– Черт подери! Надо поглядеть на это поближе, – произнес его спутник.

Спешившись, он перекинул поводья Юлиусу, приблизился к самому краю провала и попытался, наклонившись, заглянуть внутрь.

Но его глаза не увидели дна, а потому он столкнул вниз гранитный обломок и прислушался.

Звука удара не последовало.

– Так, – подытожил он. – Видимо, камень попал на топкое место и потому не произвел шума.

Однако, лишь только он умолк, снизу раздался гулкий хлопок и отдался эхом во мраке пропасти.

– Да, глубина тут порядочная, – отметил Самуил. – Но кто бы мне сказал, как называется эта пропасть?

– Адская Бездна, – отозвался с противоположного края провала чей-то звонкий и строгий голос.

– Кто это мне ответил? – с удивлением, если не с испугом воскликнул Самуил. – Я никого не вижу!

Новая молния осветила небосклон и тропу, вившуюся у противоположного края гигантской трещины, открыв взору молодых людей нечто весьма неожиданное.

II

Странное видение

Перед ними предстала молодая девушка, босая, с голыми руками и распущенными волосами, едва прикрытыми черным капюшоном, раздувавшимся от ветра, в юбке неопределенного красноватого оттенка, ярко сверкнувшей при свете молнии. Ее черты поражали странной диковатой красотой. Рука девушки сжимала веревку, другим концом обвитую вокруг шеи какого-то рогатого животного.

Вот какое видение явилось на противоположном краю Адской Бездны двум юношам.

Молния погасла, и вместе с ней растворился во мраке таинственный призрак.

– Ты видел, Самуил? – насилиу выдохнул Юлиус, с трудом приходя в себя.

– Да уж, черт возьми! И видел и слышал.

– Знаешь, если бы образованным людям было позволительно верить в существование ведьм, пришлось бы подумать, что нам повстречалась одна из них.

– Ну, я надеюсь, что так оно и есть! – вскричал Самуил. – Ведь при ней все, что требуется, даже козел! И притом, заметь, ведьмочка очень мила.

– Эй! Крошка! – закричал он и прислушался совершенно так же, как тогда, когда бросил камень в пропасть. Но и на этот раз ответом ему было молчание.

– Клянусь Адской Бездной, я не позволю себя дурачить! – крикнул Самуил.

Перехватив повод своей лошади, он вскочил в седло и, не слушая предостерегающих восклицаний Юлиуса, галопом проскакал по краю пропасти. В одно мгновение он достиг места, где только что скрылся странный призрак. Но все его поиски были тщетны: он не нашел ни девушки, ни животного – ведьма с козлом словно сквозь землю провалилась.

Самуил был не из тех, кто способен легко смириться с неудачей. Он и в пропасть заглядывал, и в кустах шарил, метался взад-вперед, то продираясь сквозь колючие заросли, то выскакивая на тропу, – все напрасно! Юлиусу насилиу удалось уговорить приятеля оставить эти бесполезные поиски, и тот наконец присоединился к нему, раздосадованный и угрюмый. Он был одной из тех упрямых натур, что имеют обыкновение ни при каких обстоятельствах не отступать от намеченной цели, во всем докапываться до сути, и встреча с необъяснимым порождает в подобных умах не мечтательность, а раздражение.

Итак, друзья вновь двинулись в путь.

Сверканье молний помогало им не сбиться с тропы, к тому же являя взору великолепные картины. Озаренные этими мгновенными вспышками, леса на горных вершинах и в долине казались багровыми, а лента реки, выющаяся у их ног, отливала мертвенным блеском стали.

Юлиус притих: уже минут пятнадцать он не произносил ни слова, предоставляя Самуилу выкрикивать свои дерзости в ответ на вспышки, казалось, затухающей грозы. Но вдруг Юлиус задержал коня и воскликнул:

– А, вот то, что нам нужно!

Он указывал на развалины замка, высившиеся в потемках справа от дороги.

– Эти руины? – спросил Самуил.

– Ну да, должен же там найтись уголок, где можно укрыться от непогоды. Там мы сможем переждать грозу или хотя бы дожидаться, когда прекратится этот ливень.

– Могу себе представить! А наша одежда тем временем будет сохнуть у нас на плечах и мы подхватим славное воспаление легких, сначала промокнув до нитки, а потом засев без движения среди этих камней... Впрочем, что ж! Так и быть, поглядим, что там за руины.

Чтобы достигнуть подножия стены, им хватило нескольких шагов. Гораздо труднее оказалось проникнуть внутрь. Покинутый людьми, замок был давно захвачен и опутан вся-

ческой растительностью. Вход был глухо закрыт целой зарослью тех кустов, трав и ползучих растений, что особенно любят ютиться среди разрушающихся стен. Самуил заставил своего коня прорваться сквозь эту колючую преграду, добавив к ударам собственных шпор уколы шипов и сучьев.

Лошадь Юлиуса прошла следом, и приятели оказались во внутренних покоях замка, если такие слова как «замок» и «внутренние покои» уместны в применении к руинам, в которых не сохранилось ни одной целой стены.

– Ха! Ты собирался укрыться здесь от дождя? – промолвил Самуил, запрокинув голову. – Мне кажется, что для этого нам все же потребовалось бы некое подобие крыши или потолка, а здесь, увы, нет ни того ни другого.

Действительно, время оставило от этого замка, быть может когда-то могучего и прославленного, жалкий остов. Из четырех стен одна рассыпалась окончательно, став грудой камней, а в трех оставшихся зияли громадные провалы на местах прежних окон.

Кони спотыкались на каждом шагу. Корни растений вспучили и местами взломали пол старого замка, как будто им, три столетия назад погребенным под этими плитами, ценой вековых трудов удалось упрямыми узловатыми пальцами раздвинуть камни своей темницы.

Три уцелевшие стены угрожающе покачивались под каждым ударом ураганного ветра. Целые тучи ночных птиц беспорядочно металась в этой темной зале под открытым небом, вторя порывам бури и раскатам грома своими ужасными криками, и в этом грохоте можно было различить заунывный клекот орлана, похожий на предсмертный вопль человека, которого убивают.

Самуил разглядывал все это с присущим ему хладнокровным любопытством исследователя.

– Что ж! – сказал он Юлиусу. – Если тебе угодно остаться здесь до утра, это по мне. Прелестное местечко, почти под стать нашей очаровательной сегодняшней прогулке на свежем воздухе. Пожалуй, тут есть даже одно преимущество: ветер в этих стенах завывает еще яростнее. Мы здесь, можно сказать, в самой воронке грозового вихря. Весьма приятны также все эти вороны, прах их возьми, нетопыри – ими тоже не следует пренебрегать. Решительно, этот приют мне подходит. Э, посмотри на вон ту сову, любимую птицу философов! Как она пялит на нас свои горящие глазница! Не правда ли, в целом свете не найти создания милее? И, сверх всего прочего, мы с тобой сможем теперь хвастаться, что скакали верхом по обеденной зале.

С этими словами Самуил дал шпоры своей лошади, направив ее в сторону поваленной стены. Но лошадь, не проскакав и десятка шагов, взвилась на дыбы, причем так резко, что всадник с размаху ткнулся в ее гриву.

В то же мгновение раздался голос:

– Стойте! Там Неккар!

Самуил посмотрел вниз.

Ему показалось, будто он повис вместе с лошады на пятидесятиметровой высоте. Внизу, подобная разверстой зияющей пасти, чернела река. Замерший было над бездной вздыбленный конь отпрянул, описав полукруг над ней передними копытами.

Гора в этом месте круто обрывалась вниз. Замок стоял над пропастью, что, вероятно, входило в расчеты строителей, поскольку делало его еще неприступнее. Пышные гирлянды ползучих растений, цепляясь за неровности гранита, казалось, одни удерживали старый замок от падения в бездну, над которой он навис, лишенный собственных разъеденных временем оснований и не имеющий более иной опоры, кроме тонких побегов плюща.

Еще один шаг – и всадника вместе с конем ждала бы верная гибель.

Животное дрожало всем телом, вздыбив гриву, роняя клочья пены изо рта; ноздри его раздувались, из них вырывался пар, и от только что пережитого ужаса трепетали каждая его жилка, каждый мускул.

Однако Самуил, как всегда спокойный или, вернее, исполненный своего обычного скептицизма, тотчас забыл о миновавшей опасности, занятый лишь одной мыслью.

– А-а! – пробормотал он. – Тот же голос!

По крику «Стойте!» он узнал голос девушки, что недавно произнесла это название – «Адская Бездна».

– Ну, на этот раз, будь ты хоть трижды ведьмой, тебе от меня не уйти! – воскликнул Самуил.

И, прищипав коня, он галопом рванулся туда, откуда донесся крик.

Но и на этот раз, сколько он ни искал, сколько ни вспыхивала молния, озаряя всю окрестность, он никого не увидел, ни следа не нашел.

– Ну, Самуил, хватит! – попробовал образумить его Юлиус, довольный, что они выбрались из этих руин, полных зловещего карканья, ловушек и провалов. – Нам пора, уж и так сколько времени потеряли!

Самуил последовал за ним, но нехотя, поминутно озираясь и кипя от досады, скрыть которую ему помогала тьма.

Отыскав тропу, они двинулись дальше. Юлиус был молчалив и серьезен, Самуил же поминутно хохотал и бранился, словно Шиллеров разбойник.

Юлиуса приободрило то, что им удалось найти дорогу. Он заметил ее, как только они покинули замок. Она была местами разбита, но довольно полого спускалась к реке и выглядела незаброшенной. Вероятно, она вела к какому-нибудь селению или, по меньшей мере, к жилью.

Но и через полчаса пути друзья не обнаружили ничего, кроме реки, вдоль обрывистого берега которой им пришлось двигаться вверх, навстречу ее бурлящему течению. Никаких следов жилья по-прежнему не было видно.

Дождь все это время продолжал хлестать с прежней силой. Одежда путников давно промокла насквозь, лошади выбились из сил. Юлиус был измучен до крайности, и даже воодушевлению Самуила, похоже, подходил конец.

– Клянусь Сатаной, – воскликнул он, – дело принимает довольно скучный оборот! Вот уже десять минут мы не имеем никаких развлечений: ни хорошенькой молнии, ни славного громового удара. Все обернулось самым заурядным ливнем. Право, это скверная шутка со стороны небес. Я любитель ужасных потрясений, но вовсе не охоч до смешных и скучных неприятностей. Похоже, ураган в свою очередь посмеялся надо мной: я дразнил его, чтобы он меня испепелил своими молниями, а он вместо этого посылает мне насморг.

Юлиус не отвечал.

– Черт возьми! – воскликнул Самуил. – Меня так и подмывает воззвать...

Он возвысил голос и торжественно произнес:

– Во имя Адской Бездны, откуда ты нам явилась! Во имя козла, твоего лучшего друга! Во имя воронов, сов и нетопырей, что в изобилии явились на нашем пути тотчас после твоего благословенного появления! Милая ведьма, дважды удостоившая подать мне голос, заклинаю тебя! Во имя Бездны, козлица, воронья, сов и нетопырей, явись! Явись! Явись! И скажи нам, далеко ли отсюда до какого-нибудь человеческого жилья!

– Если бы вы заблудились, – прозвучал из мрака ясный голос девушки, – я бы предупредила вас. Вы на верном пути: держитесь его еще минут десять и справа, за липовой рощицей вы найдете гостеприимный дом. До свидания!

Голос раздавался откуда-то сверху. Самуил поднял голову и увидел некую тень, казалось мелькнувшую в воздухе футах в десяти над ним, скользя по горному склону.

Догадавшись, что она сейчас исчезнет, он закричал:

– Постой! Мне надо спросить еще кое о чем!

– О чем же? – спросила она и замерла на гребне скалы, до того узком, что, казалось, там негде поставить ногу, будь то хоть нога волшебницы.

Он взгляделся, стараясь понять, как бы ему до нее добраться. Но высеченная в скале тропа, по которой ехали всадники, не поднималась туда. Она предназначалась для людей, а ведьма забралась туда по козьей тропке.

Сообразив, что на лошади ему не догнать красавицу, он захотел, чтобы хоть его голос достиг ее ушей.

Он повернулся к приятелю:

– Ну вот, милый Юлиус, я битый час перечислял тебе прелести этой ночи: бурю, мои двадцать лет, вино с берегов древней реки, град и гром! Но я забыл главное – любовь! Любовь, что вмещает все остальное, она и есть подлинная юность, она и есть настоящая гроза, она и есть истинное опьянение.

Пришпорив коня, он заставил его совершить прыжок, стараясь, как мог, приблизиться к девушке, и крикнул ей:

– Я полюбил тебя, прекрасная колдунья! Полюби и ты меня, а хочешь, мы и свадьбу с тобой сыграем! Да, прямо сейчас! Когда замуж выходят королевы, в их честь бьют фонтаны и грохочут пушки. А к нашей свадьбе Бог устроил проливной дождь, гром и молнии! Я вижу, что у тебя там самый доподлинный козел и потому принимаю тебя за ведьму, принимаю, и будь что будет! Отдаю тебе мою душу, подари же мне твою красоту!

– У вас нет ни почтения к Господу, ни благодарности ко мне, – произнесла девушка и исчезла из виду.

Самуил попытался было преследовать ее, но скала оказалась совершенно неприступной.

– Ну, хватит же, довольно, едем! – воскликнул Юлиус.

– Да куда ехать? – спросил Самуил, придя в отвратительное расположение духа.

– Поищем тот дом, о котором она говорила.

– Гм! А ты и поверил? – отвечал Самуил. – Допустим даже, что этот дом в самом деле существует. Но откуда ты знаешь, что это не притон головорезов, куда эта почтенная девица по их поручению заманивает усталых путников?

– Вспомни, Самуил, что она тебе сказала! – укорил его Юлиус. – Ты кошунствуешь, и ты неблагодарен!

– Ну что ж, едем, раз ты этого хочешь. Я ей не верю, но если это доставит тебе удовольствие, готов притвориться, будто поверил.

Они двинулись в путь, и через десять минут Юлиус воскликнул:

– Смотри, аспид!

Он показал приятелю на липовую рощицу, о которой упоминала девушка. Сквозь ветки деревьев пробивался свет – там, за деревьями, действительно был дом. Всадники въехали под сень лип и увидели перед собой решетку ограды.

Юлиус протянул руку к колокольчику.

– Хочешь вызвать бандитов? – усмехнулся Самуил.

Юлиус позвонил, не отвечая.

– Держу пари, – сказал Самуил, положив свою ладонь на руку спутника, – что открывать нам явится не кто иная, как девица с козлом.

Ближняя дверь дома отворилась, и неясная фигура с тусклым фонарем подошла к калитке.

– Кто бы вы ни были, – произнес Юлиус, – прошу вас об участии. Наше положение его заслуживает. Вот уже пятый час мы блуждаем в темноте под ливнем среди пропастей и горных потоков. Дайте нам приют на ночь!

– Входите, – прозвучало в ответ.

Голос был знакомый. Он принадлежал девушке, что встретила им у Адской Бездны и среди развалин замка.

– Вот видишь! – шепнул Самуил своему другу, не сумевшему удержать невольного содрогания.

– Что это за дом? – спросил Юлиус.

– Ну же, господа, вы войдете или нет? – отозвалась девушка.

– Еще бы, черт возьми! – отвечал Самуил. – Я и в ад войду, лишь бы привратница была хорошенькая!

III

Майское утро. Заря юности

На следующее утро, проснувшись в великолепной постели, Юлиус не сразу смог припомнить, где он находится.

Он открыл глаза. Веселый солнечный луч, полный живительной энергии, проскользнув сквозь щель в ставнях, беспечно играл на добела вымытом деревянном полу. Из рощи доносилось пение птиц – их звонкие голоса выводили мелодию, как бы сопровождавшую этот радостный танец света.

Юлиус спрыгнул с кровати. Домашнее платье и туфли, заботливо приготовленные, ждали его. Он оделся и подошел к окну.

Едва он толкнул ставни, как сквозь открытое окно в комнату хлынули потоки света, птичьего пения и ароматов. Окно выходило в прелестный сад, полный цветов и птиц. За ним виднелась долина Неккара, живописность которой подчеркивалась блеском речных струй, а еще дальше, на горизонте, высились горы.

И надо всем этим сияло майское безоблачное утро, в воздухе, на земле, в каждой травинке трепетала жизнь, такая свежая и щедрая, какой она бывает лишь в благодатную пору весны.

Буря вымела с неба все тучи – до последнего облачка. Небесный свод сверкал глубокой и вместе с тем ослепительной лазурью, что внушает нашему воображению представление о том, какой должна быть улыбка Бога.

Юлиуса охватило непередаваемое ощущение блаженной свежести. Сад, обновленный и освеженный после ночного ливня, был преисполнен жизненных сил. Воробьи, малиновки и щеглы, ликуя и празднуя избавление от ужасов бури, каждую ветку превратили в оркестровую площадку. Капли дождя, загоревшись под солнцем, которому вскоре предстояло их осушить, заставили каждую травинку переливаться блеском, достойным изумруда. А виноградный побег, ловко цепляясь за оконный переплет, казалось, хотел заглянуть с дружеским визитом в комнату Юлиуса.

Но вдруг случилось нечто такое, что заставило юношу сразу забыть и виноградную лозу, и птиц, поющих в древесных кронах, и блеск росы на траве, и дальние горы, и сияние небес. Юлиус не видел и не слышал более ничего, кроме чистого юного голоса, внезапно коснувшегося его слуха.

Он перегнулся через подоконник и в тени под кустом жимолости заметил самую прелестную картину, какую только можно вообразить.

На скамейке сидела девушка едва ли старше пятнадцати лет. Она держала на коленях малыша лет пяти и учила его читать.

В девушке было все то, что есть в этом мире самого пленительного. Ее голубые кроткие глаза были вместе с тем полны ума, белокурые с золотистым отливом волосы в таком пышном изобилии отягощали ее головку, что шея казалась слишком тонкой и словно бы с трудом удерживала эту роскошную копну, а лицо поражало такой чудесной чистотой линий, будто... Нет, никакие слова не в силах передать, что за светлое создание предстало перед Юлиусом. Но что особенно прельщало в ней – это обаяние юности. Она была вся как ода невинности, гимн ясности духа, поэма весны. Какая-то неизъяснимая гармоническая связь была между этим утром и незнакомкой, и ее лучистый взгляд из-под длинных ресниц был так же прозрачен, как капли росы, сверкающие в траве. Одно казалось неотделимым от другого, словно картина и ее рама.

Суть очарования девушки была в ее неповторимой грации, не имевшей, однако, ничего общего с хрупкостью, напротив: все ее существо дышало здоровьем и жизнерадостностью.

Ее наряд был вполне в немецком вкусе: белый корсаж туго обхватывал талию, коротковатая юбка, тоже белая, с фестонами по краю, пышными складками облекая бедра, спускалась вниз полупрозрачной легкой волной, достигая щиколоток и оставляя на обозрение изящные ступни.

Мальчик, сидевший у нее на коленях, прелестный малыш с пепельными кудрями, усердно внимал своей наставнице, с уморительной важностью надувая свои свежие румяные щеки. Водя пальчиком по книжной странице, где алфавит был набран таким крупным шрифтом, что буква превышала размером уткнувшийся в нее пальчик, малыш называл буквы и всякий раз с беспокойством поглядывал на свою учительницу, чтобы найти на ее лице ответ на вопрос, не ошибся ли он. Когда дитя путало буквы, девушка останавливала его и урок начинался опять; если же все было правильно, она улыбалась и мальчик мог продолжать.

Юлиус не мог налюбоваться этим чарующим зрелищем. Такая прелестная сценка в столь прелестном месте, детский голосок среди птичьего щебета, красота девушки среди красот природы, эта весна жизни, окруженная жизнью весны – все это создавало до того волнующий контраст с жестокими впечатлениями минувшей ночи, что юноша почувствовал, как его сердце тает от умиления, и предался сладостному созерцанию.

Из блаженного забытья его вывел внезапный толчок. Он был в комнате не один: это Самуил, незаметно войдя, приблизился к нему на цыпочках, любопытствуя, что могло так завладеть вниманием его друга. Юлиус очнулся лишь тогда, когда их головы соприкоснулись – второй зритель тоже высунулся в окно.

Заметив приятеля, он сделал умоляющий жест, что означало просьбу к Самуилу не шуметь. Но тот, весьма далекий от сентиментальных побуждений, не обратил на эту немую мольбу ни малейшего внимания. А поскольку виноградная лоза могла отчасти помешать его наблюдениям, он отстранил ее бесцеремонным движением руки.

Шелест потревоженных листьев заставил девушку поднять глаза. При виде непрощенных зрителей она чуть покраснела. Малыш тоже глянул вверх и, заметив в окне незнакомцев, сразу потерял интерес к книге. С этого мгновения почти все буквы вылетели у него из головы, он стал поминутно ошибаться. Казалось, девушка была несколько раздосадована, вероятно, не столько рассеянностью ребенка, сколько нескромными взглядами посторонних. Не прошло и минуты, как она спокойно закрыла книгу, спустила своего ученика на землю, встала и направилась с мальчиком в дом, учтиво ответив на приветствие молодых людей, поклонившихся ей, когда она проходила под окном Юлиуса.

Рассердившись, он повернулся к Самуилу:

– Ты их спугнул! Чего ради?

– А, понятно! – насмешливо процедил тот. – Ястреб напугал жаворонка. Но ты не тревожься, все это ручные пичужки, вернутся, никуда не денутся. А тебе, стало быть, так и не перерезали плотку этой ночью? Судя по всему, этот разбойничий приют довольно уютен. Как погляжу, твоя комната не хуже моей. О, да она еще лучше: у тебя тут, помимо всего прочего, представлена в гравюрах история библейского Товии! Тебе повезло.

– Мне кажется, будто я видел сон, – признался Юлиус. – Ну, вспомним-ка происшествие этой ночи. Нам ведь открыла та красавица с мерзким козлом, разве нет? При этом она еще делала таинственные знаки, требуя молчания. Она указала нам конюшню, куда поставить наших лошадей. Потом повела нас в дом, в третий этаж, в эти две смежные комнаты. Она зажгла эту лампу, почтительно поклонилась и упорхнула, так и не произнеся ни звука. Право же, Самуил, мне показалось, что ты был ошеломлен всем этим почти так же, как я. Тем не менее ты попытался было последовать за ней, я тебя удержал, и мы решили лечь спать. Все так и было, да?

– Твои воспоминания, – заметил Самуил, – как нельзя более точны. И вероятно, вполне соответствуют действительности. Притом держу пари, ты уже простил мне, что я вчера вече-

ром вытащил тебя из гостиницы. Что, будешь теперь бранить грозу? Разве я не оказался прав, утверждая, что зло может вести к добру? Благодаря грому и ливню нам достались две комнаты, весьма прилично обставленные, с видом на живописный ландшафт, да, сверх того, мы еще познакомились с отменной красоткой, влюбиться в которую нам велит простая вежливость, тогда как ее долг гостеприимства обязывает ответить нам взаимностью.

– Ну, опять понес чертовщину! – вздохнул Юлиус.

Самуил открыл было рот, готовясь произнести очередную насмешливую реплику, но тут дверь комнаты отворилась, впустив старуху-служанку. Она принесла обоим гостям их одежду, выстиранную и высушенную, и завтрак, состоявший из хлеба с молоком.

Поблагодарив ее, Юлиус спросил, кто приютил их. Старуха отвечала, что они находятся в Ландеке, в доме священника, а хозяина зовут пастор Шрайбер.

Служанка, по-видимому, не отличалась чрезмерной молчаливостью. Принявшись за уборку комнаты, она уже по собственному почину поделилась с молодыми людьми кое-какими дополнительными сведениями:

– Жена пастора уж пятнадцать лет как умерла от родов: она тогда разрешилась фрейлейн Христианой. Потом еще была утрата, три года назад, когда скончалась старшая дочь пастора, госпожа Маргарита. Вот он и остался совсем один с дочкой, то есть с фрейлейн Христианой, да внуком Лотарио, сыном Маргариты.

Студенты узнали также, что достойный священник в настоящее время отсутствует. Долг пастыря повелел ему быть сегодня в селении, в храме, и Христиана отправилась туда с ним. Однако к полудню он возвратится, ведь это время обеда, и тогда сможет повидать своих гостей.

– Кто же в таком случае открыл нам вчера? – осведомился Самуил.

– А, это Гретхен, – сказала старуха.

– Отлично. Теперь объясните нам, сделайте милость, кто такая Гретхен.

– Гретхен? Она пастушка. Коз пасет.

– Пастушка! – воскликнул Юлиус. – Ну, тогда понятно. Это объясняет все вообще, а в частности, откуда этот козел. И где же она теперь?

– Вернулась на свою гору. Зимой, а иногда и летом, если непогода уж так разыграется, что ей становится вовсе невозможно ночевать в своей дощатой хибарке, она приходит сюда. У нее в этом доме и комнатка своя есть рядом с моей, но она здесь подолгу не живет. Такая чудачка – говорит, душно ей, видите ли, в четырех стенах. Ей подавай свежий воздух, совсем как ее козам.

– Но по какому праву она впустила нас сюда? – спросил Юлиус.

– Тут не в праве дело, а в долге, – возразила служанка. – Господин пастор всякий раз, как ее увидит, напоминает, чтобы она непременно приводила к нему каждого усталого или заблудившегося путника, встреченного в горах. Ведь в нашей округе гостиницы нет, а господин пастор считает, что дом священника принадлежит Господу, и Божий дом должен быть открыт для всех.

Старуха удалилась. Молодые люди позавтракали, переоделись и спустились в сад.

– Давай прогуляемся перед обедом, – предложил Самуил.

Юлиус покачал головой:

– Нет. Я устал.

И он присел на скамью, стоящую в тени жимолости.

– С чего бы это? – удивился Самуил. – Ты ведь только что встал с постели.

Вдруг он громко захохотал:

– О, я все понял! Ведь это скамья, где сидела Христиана! Ах ты, Юлиус, бедненький мой! Уже!

Смущенный и раздосадованный, Юлиус встал.

– Согласен, – промолвил он, – ты прав, есть смысл пройтись. Успеем еще насидеться. Побродим по парку.

И он пустился рассуждать о цветах, о расположении садовых аллей, словно спеша увести разговор в сторону от матерей, о каких упомянул Самуил, то есть от скамейки и от пасторской дочки. Он сам не понимал почему, но ему стало как-то неприятно слышать имя Христианы из насмешливых уст Самуила.

Друзья блуждали по аллеям целый час. В дальнем конце парка они набрали на фруктовый сад. Впрочем, в это время года он ничем не отличался от цветочного: яблони и персиковые деревья пока представляли собой всего лишь громадные букеты белоснежных и розовых цветов.

– О чем ты задумался? – внезапно спросил у Юлиуса его спутник, заметивший, что молодой человек, погружившись в мечты, стал чересчур молчалив.

Мы не осмелимся утверждать, что Юлиус в этом случае был вполне чистосердечен, но как бы то ни было, он ответил:

– Об отце.

– О твоём отце? Но сделай милость, объясни, с какой стати тебе пришел на ум сей ученый муж?

– Да хоть потому, что завтра в тот же час у него, может быть, уже не будет сына.

– Ну, мой дорогой, не будем спешить с составлением завещания, хорошо? Полагаю, что завтра меня ждут, по меньшей мере, такие же опасности, как тебя. Вот и подумаем об этом завтра, тогда будет самое время. Ты еще не знаешь, до какой степени разыгравшееся воображение подтачивает волю. В этом состоит слабость возвышенных умов, это их уязвимое место, подчас позволяющее глупцам торжествовать над ними. Что до нас, мы не должны этого допустить.

– Не беспокойся! – отозвался Юлиус. – Ни моя воля, ни отвага не изменят мне в час завтрашнего испытания.

– Я в этом не сомневаюсь, Юлиус. Так оставь же свою мрачную мину. Кстати, вон, кажется, и пастор с дочкой идут сюда. Ба! Похоже, твоя улыбка возвращается к тебе вместе с ними. Уж не ходила ли она тоже в храм?

– Аспид, – пробормотал Юлиус.

Пастор и Христиана действительно возвращались из церкви. Девушка уже повернула к дому; священник же поспешил навстречу гостям.

IV

Пять часов, промелькнувшие как пять минут

У пастора Шрайбера было суровое, честное лицо немецкого священника, привыкшего неукоснительно придерживаться в собственной жизни заповедей, которые он проповедует другим. Это был мужчина лет сорока пяти, следовательно, еще не старый. Его лицо хранило отпечаток вдумчивой, несколько меланхолической доброты. Вдумчивость приличествовала его роду занятий, меланхолия была следствием пережитых утрат. Потеря жены и дочери оставила неизгладимый след: чувствовалось, что человек этот безутешен. Тень земной скорби, омрачавшая его лицо, казалось, ведет непрестанную борьбу с врачующим душу светом христианского упования.

Он пожал руки молодым людям, осведомился, хорошо ли им спалось, и поблагодарил за то, что вчера вечером они соблаговолили постучаться в его дверь.

Минуту спустя колокольчик прозвонил к обеду.

– Идемте же, господа, – произнес пастор. – Моя дочь ждет нас. Я покажу вам дорогу.

– Он не поинтересовался нашими именами, – шепнул Самуил на ухо Юлиусу. – Впрочем, и ни к чему их здесь сообщать. Твое может смутить скромность малютки своим блеском, мое – оскорбить благочестивый слух добряка-папаши своим еврейским звучанием.

– Согласен, – кивнул Юлиус. – Притворимся принцами, путешествующими инкогнито.

Они вошли в обеденную комнату. Христиана с племянником были уже там. С робкой фацией девушка приветствовала молодых людей.

Все уселись за четырехугольный стол, уставленный простыми, но обильными яствами. Хозяин расположился между двумя гостями, Христиана – напротив. Между ней и Юлиусом сел Лотарио.

Вначале трапеза проходила в молчании. Юлиус, смущенный присутствием Христианы, не мог выдать ни слова. Христиана, казалось, была занята исключительно малышом Лотарио, о котором она заботилась с материнской нежностью. Он же звал ее сестрицей. Беседу с грехом пополам поддерживали только пастор и Самуил. Священник просиял от радости, узнав, что принимает у себя студентов.

– Я тоже когда-то был студизусом, – говорил он. – В наше время студенческая жизнь была веселее.

– Зато теперь она несколько драматичнее, – заметил Самуил, искоса взглянув на Юлиуса.

– Ах, – продолжал пастор, – то была лучшая пора моей жизни. Правда, потом мне пришлось дорого заплатить за это счастье молодых лет. Тогда моя жизнь была полна надежд. Теперь все совсем-совсем иначе. О, я упомянул об этом отнюдь не для того, чтобы опечалить вас, мои юные гости. Вы же видите, я об этом говорю почти весело. И как бы то ни было, мне бы хотелось побыть на этом свете, чтобы когда-нибудь увидеть мою Христиану счастливой хозяйкой родового гнезда ее предков...

– Отец! – перебила девушка с нежным упреком.

– Да, да, ты права, моя златовласая умница, – сказал священник. – Поговорим о чем-нибудь другом. Да будет тебе известно, что, благодарение Господу, вчерашний ночной ураган пощадил почти все мои дорогие растения.

– Так вы занимаетесь ботаникой, сударь? – спросил Самуил.

– Немного, – со скромной гордостью подтвердил священник. – А вы, сударь, вы тоже?..

– Иногда, в свободное время, – небрежно отозвался молодой человек.

Потом, предоставив хозяину время порассуждать о своих любимых занятиях, Самуил внезапно сбросил, так сказать, маску и в свою очередь заговорил, обнаружив глубину позна-

ний и дерзость мысли, забавляясь растерянностью своего почтенного собеседника, ошеломленного новизной наблюдений юноши и неожиданностью его гипотез. И наконец во всеоружии истинной науки он стал, не меняя своей вежливой, холодной и слегка насмешливой манеры, словно бы нечаянно разрушать шаткие построения поверхностно начитанного, да и несколько устаревшего в своих представлениях хозяина.

В это время Юлиус и Христиана, до сих пор молчавшие, лишь украдкой поглядывая друг на друга, начали понемногу осваиваться.

Сначала посредником между ними стал Лотарио. Еще не смея заговорить с самой Христианой, Юлиус принялся задавать мальчику вопросы, но тот не мог на них ответить. Лотарио обращался за разъяснениями к девушке, и она отвечала ему, а тем самым и Юлиусу. Юноша был безгранично счастлив: мысли Христианы, передаваемые милыми, чистыми устами ребенка, сладостно входили в его сердце.

Когда подали десерт, эти трое уже были лучшими друзьями – и все благодаря той неподражаемой порывистости, чудной легкости в проявлении чувств, что составляет высшую прелесть детства.

Однако, когда все поднялись со своих мест, намереваясь перейти в сад, чтобы пить кофе в тени деревьев, сердце Юлиуса сжалось, а брови невольно нахмурились при виде Самуила, который направлялся к ним, готовясь нарушить хрупкое очарование нарождающейся близости. Пастор же в это самое время собрался покинуть общество и отправиться за старым французским коньяком.

Самуила, неисправимого скептика и насмешника, можно было бы упрекнуть во многом, но уж недостаток дерзости никак не входил в число его пороков. Юлиус почувствовал себя оскорбленным, заметив, как он с видом хладнокровного фата устремил беззастенчивый взгляд на пленительную девушку и обратился к ней с такими словами:

– Нам следует попросить у вас прощения, фрейлейн. Сегодня утром мы помешали вам продолжать урок, который вы давали своему племяннику. С нашей стороны было очень глупо вести себя так.

– О, это пустяки, мы уже заканчивали, – сказала она.

– Я не мог сдержаться от возгласа изумления. Вообразите, мы ведь едва не приняли за колдунью ту девушку, что привела нас сюда. Ее наряд, ее козел, эти молнии, при свете которых она нам явилась, – все наводило на такую мысль. И вот, заснув с этой догадкой, мы просыпаемся поутру, раскрываем окно и что же видим? Козел превратился в прелестное дитя, а ведьма...

– В меня! – подхватила Христиана с задорной, а возможно, и насмешливой улыбкой.

И, обернувшись к Юлиусу, напустившему на себя солидный, сдержанный вид, она спросила:

– А вы, сударь? Вы тоже приняли меня за колдунью?

– Не без того, – признался Юлиус. – Право же, не совсем естественно быть настолько красивой.

Если слова Самуила вызвали у Христианы усмешку, то при этой фразе Юлиуса она покраснела.

Он и сам тотчас оробел, опасаясь, что позволил себе слишком много, и поспешил обратиться к ребенку:

– Лотарио, скажи, а ты хотел бы поехать с нами в университет?

– Сестрица, – мальчик повернулся к Христиане, – а что это значит – университет?

– Это такое место, где вас научат всему на свете, дитя мое, – весело отвечал вернувшийся пастор.

Тогда малыш с важной миной сказал Юлиусу:

– Мне незачем ехать с вами, потому что вместо университета у меня есть сестрица. Христиана все знает, сударь: она и читать умеет, и писать, и музыке училась, а еще она говорит по-французски и по-итальянски. Я никогда ее не покину. Ни за что на свете.

– Значит, вы куда счастливее нас, мой любезный малютка, – вмешался Самуил, – поскольку нам с Юлиусом, увы, пора уезжать.

– Как?! – воскликнул пастор. – Неужели вы не подарите мне даже одного этого дня? Вы не останетесь поужинать с нами?

– Тысяча благодарностей! – отвечал Самуил. – Но наше присутствие в Гейдельберге сегодня вечером совершенно необходимо.

– Да, но ведь по вечерам не бывает ни занятий, ни переключек.

– Нет, но долг, призывающий нас туда, еще гораздо серьезнее, и Юлиусу это хорошо известно.

– Предлагаю полюбовное соглашение, – просительно улынулся священник. – Гейдельберг всего-навсего в семи-восьми милях от Ландека. Вы прекрасно успеете туда, если выедете отсюда в четыре, да и лошади ваши тем временем отдохнут и жара спадет. Я вам ручаюсь, что вы прибудете на место еще до темноты.

– Нельзя! – возразил Самуил. – Учитывая неотложность дела, для которого мы туда едем, нам следует успеть заблаговременно. Не правда ли, Юлиус?

– Это так важно? – вполголоса спросила Христиана, устремив на Юлиуса чарующий взгляд голубых глаз.

И Юлиус, до того молчавший, не устоял перед их ласковым вопросом.

– Да ну, Самуил, – сказал он, – не будем противиться гостеприимству наших радушных хозяев. Мы вполне можем выехать отсюда ровно в четыре.

Самуил бросил злобный взгляд на Юлиуса и девушку.

– Ты этого хочешь? Что ж! – ехидно усмехнулся он.

– В добрый час! – воскликнул священник. – А теперь послушайте, какие у меня планы. До трех я буду показывать вам, господа, мои коллекции и сад. Потом мы все, дети и я, проводим вас до поворота к Неккарштейнаху. У меня есть ловкий, сильный малый, он приведет вас туда ваших лошадей. Вы увидите, что дорога, показавшаяся вам такой кошмарной в грозовую ночь, прелестна при солнечном свете. И там же мы, по всей вероятности, встретим вашу предполагаемую колдунью. Пожалуй, в ней и правда есть что-то такое, но в самом христианском духе. Это чистейшее, святое дитя.

– Я не прочь поглядеть на нее при дневном свете, – заметил Самуил и, вставая, прибавил, обращаясь к пастору: – Что ж, сударь, пойдемте смотреть ваши гербарии.

Проходя мимо Юлиуса, он шепнул ему на ухо:

– Я займусь папашей, заведу ученую беседу про Турнефора и Линнея. Заметь, какой я преданный друг!

Он и в самом деле завладел пастором, так что Юлиус смог остаться наедине с Христианой и Лотарио. Теперь между ним и девушкой больше не было прежней неловкости, они уже осмеливались смотреть друг на друга и разговаривали без мучительного стеснения.

Впечатление, которое Христиана произвела на Юлиуса при их утренней встрече, проникало в его сердце все глубже. Прелесть ее свежего, выразительного личика, на котором он, словно в открытой книге, видел все движения этой девственной души, неодолимо влекла юношу. Взгляд Христианы, прозрачный, как струя горного ключа, позволял заглянуть в самую глубину ее сердца, столь же исполненного очарования, сколь способного на непреклонное постоянство. Само воплощение красоты и доброты, девушка была вся пронизана светом, как этот сияющий майский день.

Присутствие Лотарио вовсе не мешало их нежной беседе, напротив, при нем она текла особенно свободно и невинно. Христиана показала Юлиусу свои цветы, улы, птичий двор,

свои ноты и книги – словом, всю свою жизнь, простую и безмятежную. Под конец она даже решилась заговорить с ним о нем самом.

– Вы кажетесь таким добрым, мирным, – чуть смущенно промолвила она. – Как же могло случиться, что вашим другом стал человек настолько язвительный и высокомерный?

Она заметила, что Самуил исподтишка посмеивался над доверчивостью и добродушием ее отца, и тотчас прониклась к нему антипатией.

Юлиусу вспомнилось, что гётевская Маргарита в дивной сцене в саду говорит нечто подобное о Мефистофеле. Но про себя он уже решил, что возлюбленная Фауста не идет ни в какое сравнение с его Христианой. Говоря с ней, он успел подметить, что за ее юной простодушной грацией таятся твердая воля и развитый ум – качества, которыми она, вероятно, была обязана своему печальному детству, детству без матери. Это, конечно, еще дитя, сказал он себе, но дитя, одаренное чуткостью и разумом женщины.

Ни он ни она не сумели скрыть своего наивного изумления, когда пастор и Самуил, возвратившись к ним, объявили, что уже три и скоро им пора будет отправляться.

На тех счастливых и забывчивых часах, где время отсчитывают первые биения влюбленных сердец, пять часов всегда пролетают как пять минут.

V

Самуил внушает недоверие цветам и травам

Итак, настала пора трогаться в путь. Но им еще предстояло провести вместе час.

При этой мысли Юлиус повеселел. Он рассчитывал, что по дороге они с Христианой будут продолжать начатый разговор. Но этого не произошло. Христиана инстинктивно почувствовала, что ей не подобает такое быстрое сближение с Юлиусом. Она взяла под руку отца, не прерывавшего своей беседы с Самуилом. Юлиус уныло брел позади.

Они поднимались вверх по живописному лесистому склону, в тени прелестных крон, пронизанных улыбающимися солнечными лучами. Торжествующие трели влюбленного соловья делали особенно праздничной блаженную безмятежность дня, клонившегося к закату.

Только Юлиус, как было сказано, угрюмо держался в стороне, уже сердясь на Христиану.

Он попытался пустить в ход хитрость:

– Лотарио, поди-ка сюда, взгляни, – позвал он малыша, семенившего рядом с Христианой, повисая у нее на руке и делая три шага, когда она делала один.

Мальчик поспешил на зов старинного друга, пребывавшего в этом качестве уже два часа, и Юлиус показал ему стрекозу, только что опустившуюся на ближний куст, стройную, трепетную, с переливающимися крылышками. Дитя испустило восторженный вопль.

– Какая жалость, что Христиана не видит ее, – произнес Юлиус.

– Сестрица! – закричал Лотарио. – Иди скорей сюда!

И поскольку Христиана не спешила подойти, догадываясь, что ребенок зовет ее не по собственному почину, Лотарио побежал к ней сам, стал дергать за юбку, вынуждая отпустить руку отца и последовать за ним. Девушка уступила, и торжествующий Лотарио потащил ее любоваться крылатым чудом.

Стрекоза тем временем успела улететь, зато Христиана оказалась подле Юлиуса.

– Видишь, ты напрасно звал меня, – сказала она мальчику и тотчас возвратилась к отцу.

Юлиус снова и снова прибегал к этому маневру. Он показывал Лотарио каждую бабочку, оказавшуюся поблизости, каждый придорожный цветок, неизменно сожалея, что Христианы нет рядом и она не может насладиться их красотой. И всякий раз малыш мчался к Христиане и так приставал к ней, что она волей-неволей шла за ним. Так Юлиус, злоупотребляя простодушием мальчика, заставлял девушку хоть на мгновение продолжать их упорное уединение втроем.

Он даже настолько преуспел, что вынудил ее принять из маленьких ручек своего невинного сообщника великолепный, только что распутившийся цветок шиповника.

Но всякий раз Христиана без промедления возвращалась к отцу, хотя рассердиться на Юлиуса за его настойчивость у нее не хватало духу. Ей, юной и нежной, стоило немалого труда противостоять, борясь с собственным сердцем, побуждавшим ее остаться.

Наконец она сказала ему с восхитительной детской прямоотой:

– Послушайте, ведь с моей стороны было бы просто невежливо, если бы я все время говорила только с вами. Отец был бы удивлен, если бы я совсем не уделяла внимания ни ему, ни вашему товарищу. Но вы же скоро приедете к нам еще, правда? Мы тогда непременно отправимся на прогулку вместе с моим отцом и Лотарио, и знаете что? Если пожелаете, мы вам покажем Адскую Бездну и развалины замка Эбербах. Там очень красиво, господин Юлиус; ночью вы не могли этого увидеть, но днем эти места вам понравятся, я уверена. И уж тогда мы обязательно поговорим дорогой, обещаю вам.

Они подошли к развилке. Лошадей, которых должен был привести мальчик-слуга г-на Шрайбера, еще не было на месте.

– Пойдемте пока вон туда, – предложил пастор. – В нескольких шагах отсюда хижина Гретхен, может быть, мы ее там застанем.

Вскоре они и в самом деле заметили юную пастушку. Ее хижина стояла на косогоре, под защитой нависающей сверху скалы. Гретхен окружала добрая дюжина коз – они паслись, прыгая с места на место и в поисках своих любимых горных трав забираясь на самые крутые склоны, лишь бы нашлась хоть малая выбоина, чтобы поставить копытце. Совсем как Вергилиевы козы, что щиплют горький ракитник на самом краю пропасти.

При свете дня Гретхен казалась еще более странной и прекрасной, чем ночью, освещенная сверканием молний. Сумрачный пламень горел в ее черных глазах. Волосы, тоже черные, были украшены причудливыми цветами. Она сидела на корточках, опираясь подбородком на руку, и, казалось, была всецело погружена в какую-то неотвязную думу. В этой позе, с такой прической, с этим мрачно сосредоточенным взглядом она была очень похожа на цыганку и немного – на безумную.

Христиана и пастор приблизились к ней. Казалось, она их не заметила.

– Ну, что с тобой, Гретхен? – сказал священник. – Я иду сюда, а ты не бежишь меня встречать, как обычно? Ты не рада? А я пришел поблагодарить тебя за гостей, которых ты привела ко мне вчера вечером.

Гретхен не тронулась с места, только вздохнула. Потом, помолчав, она проговорила печально:

– Вы правы, что благодарите меня сегодня. Возможно, завтра вам уже не захочется сделать это.

Самуил устремил на пастушку взгляд, полный насмешки:

– Похоже, ты раскаиваешься, что привела нас?

– Вас особенно, – отвечала она. – Но и его тоже, да, и его приход не к добру... – прибавила она, с горестной нежностью глядя на Христиану.

– Из чего же это явствует? – осведомился Самуил все так же насмешливо.

– Об этом говорят белладонна и увядший трилистник.

– А, стало быть, Гретхен тоже занимается ботаникой? – заметил Самуил, повернувшись к пастору.

– Да, – отвечал тот, – она утверждает, что умеет узнавать по растениям тайны настоящего и будущего.

– По-моему, цветы, кусты и деревья, никогда не творившие зла, подобно людям, больше нас достойны Господнего откровения, – сказала пастушка сурово. – В награду за их невинность им даровано всезнание. Я так долго жила рядом с ними, что они в конце концов стали открывать мне некоторые свои секреты.

И Гретхен снова впала в мрачную отрешенность. Тем не менее, погруженная в свои грезы, она продолжала говорить словно бы сама с собой, но громко, так что все могли ее слышать:

– Да, я привела беду под дорогой для меня кров. Пастор спас мою мать, да не допустит Господь, чтобы из-за меня погибла его дочь! Моя мать бродила по дорогам, гадала, обещая встречным удачу в будущем; одинокая скиталица, она носила меня за спиной, не имея ни на земле, ни на небесах больше ничего – ни дома, ни мужа, ни религии. Пастор приютил ее, кормил, учил. Благодаря ему она умерла христианкой. О матушка, теперь ты видишь, как я отплатила тому, кто открыл перед твоей душой врата рая, а перед твоей дочерью – двери своего дома. Я привела в этот дом людей, отмеченных печатью рока! Презренная, неблагодарная я! Мне следовало сразу распознать их суть по одному тому, что это была за

встреча! Почему, ох почему я не догадалась, как опасно им доверять, ведь я слышала, о чем они говорили! Гроза принесла их сюда, и они принесли грозу.

– Да успокойся же, Гретхен, – сказала Христиана с легкой досадой. – Право, ты сегодня словно не в себе. Ты не больна?

– Дитя мое, – вмешался пастор, – эта одинокая жизнь вредит тебе. Я не раз уже пытался убедить тебя отказаться от нее. Вся беда в том, что ты вечно одна.

– Одна? – возразила Гретхен. – О нет, ведь со мной Бог.

Закрыв лицо руками, она замерла, будто охваченная мучительной растерянностью, и, помолчав, снова забормотала:

– Чему суждено быть, то и сбудется. Ни ему с его доверчивой добротой, ни ей с ее голубиным сердечком, ни мне с моими руками, тонкими, будто прутики, не дано побороть судьбу. Мы, все трое, перед демоном окажемся так же бессильны, как маленький Лотарио. И я сама... О, моя доля будет не легче, чем у двух других. Ах, лучше бы не знать того, чего невозможно предотвратить! Такое предвидение ничего не дает, одни напрасные мучения.

Произнеся эти слова, она вдруг вскочила, бросила на двух чужаков яростный взгляд и исчезла в своей хижине.

– Бедная девочка! – вздохнул пастор. – Она кончит тем, что сойдет с ума, если это уже не случилось.

– Она напугала вас, фрейлейн? – спросил Юлиус Христиану.

– Нет, – отвечала девушка. – Скорее растрогала. Она живет в мире своих грез.

– По моему мнению, она столь же очаровательна, сколь забавна, – сказал Самуил, – и когда грезит, и когда бодрствует, днем и ночью, при свете солнца и блеске молний.

Бедняжка Гретхен! Те, кого она пыталась предостеречь, не вняли ей. Так когда-то троянцы не поверили Кассандре.

Топот копыт отвлек гуляющих от смутных и весьма различных чувств, навеянных этой странной сценой. Лошади, наконец, прибыли.

VI

Переход от блаженства к суете, что для некоторых составляет осязаемое различие

Наступил миг расставания. Пора было прощаться. Пастор заставил Юлиуса и Самуила еще раз дать слово посетить его дом, как только выпадет свободный день.

– Ведь по воскресеньям не бывает занятий, – робко напомнила Христиана.

Это замечание все решило. Было условлено, что молодые люди вернутся в ближайшее воскресенье. Это значило, что разлука продлится не более трех дней.

Когда студенты сели на коней, Юлиус посмотрел на Христиану, и девушка прочла в его глазах печаль, которую он тщетно старался скрыть.

Тоскующий взор юноши остановился на цветке шиповника, который он преподнес ей через посредство Лотарио. Теперь, после того как цветок побыл у Христианы, Юлиусу страстно захотелось получить его обратно.

Но она, притворившись, будто не замечает этого просящего взгляда, с улыбкой протянула ему руку:

– Итак, до воскресенья?

– О да, конечно, – отвечал он таким унылым тоном, что девушка усмехнулась, а Самуил расхохотался.

– Если только со мной не случится беда, – прибавил юноша вполголоса.

Он пробормотал эти слова еле слышно, однако Христиана все же услышала. Тотчас, побелев, она вскрикнула:

– Но какая же беда может случиться с вами за три дня?

– Кто знает! – полушутя отозвался Юлиус. – А вы бы хотели, чтобы я избежал всех опасностей? Что ж, вам легко было бы уберечь меня от них, ведь вы ангел. Вам достаточно лишь вспомнить обо мне в своих молитвах. Попросите за меня Господа, скажем, завтра во время проповеди.

– Завтра? На проповеди? – растерянно повторила Христиана. – Отец, слышите, о чем просит господин Юлиус?

– Я всегда учил тебя молиться за наших гостей, дочь моя, – сказал пастор.

– Стало быть, отныне я неуязвим, – улыбнулся Юлиус. – Серафим обещает молиться за меня. Теперь мне недостает только талисмана феи.

Он все еще не сводил глаз с цветка шиповника.

– Однако, – вмешался Самуил, – давно пора отправляться в путь, хотя бы затем, чтобы не заставлять эти милые, невинные опасности ждать нас. Да полно, разве они не угрожают ежечасно всем людям, тем не менее благополучно от них ускользающим? Впрочем, я буду рядом – я, кого Гретхен, похоже, принимает чуть ли не за черта, а в делах смертных черт многое может. И наконец, стоит ли так беспокоиться? Ба! В конечном-то счете главное предназначение каждого человека – умереть.

– Умереть! – вырвалось у Христианы. – О господин Юлиус, я буду молиться за вас! Непременно буду, хотя все-таки надеюсь, что вам не угрожает смертельная опасность.

– Ну, довольно, прощайте, – нетерпеливо повторял Самуил. – Прощайте, нам пора. Юлиус, мы опаздываем.

– Прощайте, дружище! – закричал Лотарио.

– Ты мог бы, – заметила Христиана, – подарить своему другу на память этот цветок.

И она протянула малышу цветок шиповника.

– Но я же слишком мал! – воскликнул Лотарио, тщетно стараясь дотянуться до Юлиуса, сидящего верхом.

Тогда Христиана взяла малыша на руки и подняла так, чтобы Юлиус мог взять у него шиповник.

Теперь можно было считать, что цветок подарил ему не только Лотарио, разве нет?

– Благодарю! До свидания! – воскликнул он, взволнованный до глубины души.

И в последний раз помахав рукой Христиане и ее отцу, он дал коню шпоры так резко, будто хотел вложить в это движение избыток переполнявших его чувств. Конь галопом рванулся с места. Самуил также поскакал во весь опор. Минуту спустя друзья были уже далеко.

Но Юлиус, проскакав шагов пятьдесят, все же оглянулся и увидел Христиану: обернувшись в то же мгновение, она жестом послала ему прощальный привет.

Для них обоих этот первый отъезд уже стал самой настоящей разлукой. Каждый чувствовал, будто от него отрывают частицу его существа.

Молодые люди проскакали четверть льё, торопя коней и не обменявшись ни единым словом.

Дорога была прелестна. С одной стороны высилась гора, поросшая лесом, с другой – сверкали воды Неккара, отражая безмятежную синеву небес. Лучи заходящего солнца, утратив свою знойность, одели розовым сиянием кроны и стволы деревьев.

– Славный пейзаж, – заметил Самуил, сдерживая бег лошади.

– Но мы покинем и его, променяв на уличную толчею и прокуренные трактиры, – откликнулся Юлиус. – Никогда я не чувствовал так ясно, как в эту минуту, насколько мне чужды все эти ваши попойки, ссоры и передраги. Я создан для покоя, для мирных радостей...

– И для Христианы! Ты умалчиваешь о главном. Ну же, признайся, ведь для тебя все очарование селений сосредоточено в прелестной поселянке. Что ж, ты прав! Девица мила, да и ведьмочка тоже. Я и сам, подобно тебе, рассчитываю еще понаведаться в здешние места. Но если нам подвернулось гнездышко таких славных птишек, это еще не повод ныть. Сейчас, напротив, пора заняться нашими завтрашними делами, о воскресенье подумаем после. Если выживем, будет время разыгрывать пасторали и даже влюбиться, но пока будем мужчинами.

Они ненадолго задержались в Неккарштейнах, чтобы распить бутылочку пива и дать передохнуть лошадям, а потом, освеженные и бодрые, продолжили путь. В Гейдельберг они прибыли, когда было еще совсем светло.

Город был полон студентов. Они сновали по улицам, выглядывали из окон гостиниц, и казалось, что кроме них, здесь не было других жителей. Заметив Самуила и Юлиуса, они с живостью приветствовали их. Что до Самуила, то он, по-видимому, был особо уважаемой персоной. При его появлении фуражки всех цветов – желтые и зеленые, красные и белые – приподнимались самым почтительным образом.

Когда же друзья достигли главной улицы, эти знаки уважения сменились бурными восторгами – прибытие превратилось в триумфальный въезд.

Студенты, кем бы они ни числились в негласной университетской табели о рангах – и замшелые твердины, и простые зяблики, и золотые лисы, и мулы¹ – столпились во всех окнах и подъездах домов. Одни размахивали фуражками, другие салютовали бильярдными киями, и все горланили изо всех сил знаменитую песенку «Кто там спускается с холма?» с нескончаемым оглушительным припевом «Виваллераллераллера-а-а».

На все изъявления почтительного восторга Самуил отвечал лишь едва заметным кивком. Увидев, что этот галдеж только усиливает меланхолию Юлиуса, он крикнул толпе:

¹ Наименования различных рангов университетской иерархии, как и прочие приводимые здесь подробности, касающиеся нравов и образа жизни германских студентов, могут показаться несколько странными Французскому читателю. Но да будет ему известно, что в этой части повествования все подлинно – мы не фантазируем, а просто рассказываем. (Примеч. автора.)

– Тихо! Вы досаждаете моему другу. Ну же, хватит, вам говорят! Да за кого нас здесь принимают? За верблюдов или филистеров? С какой стати весь этот гам и вопли? Ну-ка посторонитесь, вы мешаете нам спешиться.

Но толчея вокруг продолжалась. Те из толпы, кто оказался ближе прочих, теснясь, хватались за повод лошади Самуила, оспаривая друг у друга завидную честь отвести ее на конюшню.

Студент лет тридцати, должно быть принадлежавший к разряду старых замков, если не замшелых твердынь, выскочил из дверей гостиницы и, расталкивая зябликов и простых сотоварищей, плотным кольцом окружавших Самуила, огромными прыжками устремился к нему:

– Руки прочь! – закричал он тем, кто, толкаясь, виснул на конской уздечке. – А! Здравствуй, Самуил! Привет, мой благородный сеньор! Ура!

– Здравствуй и ты, Трихтер, мой дражайший лис, – отвечал Самуил.

– Наконец, ты вернулся, великий человек! – продолжал Трихтер. – Как медленно тянулось время, до чего жизнь была скучна в твое отсутствие! И вот ты здесь! Виваллераллера!..

– Хорошо, Трихтер, хорошо, я тронут твоей радостью. Но дай же мне сойти с коня. Так. Теперь позволь Левальду отвести мою лошадь на конюшню. Что такое? Ты дуешься?

– Но позволь! – возроптал задетый Трихтер. – Подобная честь...

– Ну да, знаю, Левальд всего лишь простой сотоварищ. Однако время от времени королям не мешает делать что-нибудь и для народа. А ты ступай вместе с Юлиусом и со мной в дом теплых встреч.

То, что Самуил назвал домом теплых встреч, было просто-напросто гостиницей «Лебедь», самой большой в городе; перед ее подъездом они и остановились.

– С какой стати здесь собралось столько народу? – обратился к Трихтеру Самуил. – Разве меня ждали?

– Нет, это празднуют начало пасхальных каникул, – объяснил Трихтер. – Ты подоспел как раз вовремя. Там сейчас теплая встреча лисов.

– Так идемте же, – сказал Самуил.

Хозяин гостиницы, предупрежденный о прибытии Самуила, уже спешил к нему с видом одновременно важным и подобострастным.

– Ба! Вы не слишком торопитесь! – заметил Самуил.

– Прошу прощения, – отвечал хозяин. – Дело в том, что сегодня вечером мы готовимся к встрече его высочества принца Карла Августа, сына баденского курфюрста. Он посетит Гейдельберг проездом в Штутгарт.

– Мне что за дело? Он всего лишь принц, а я король.

Юлиус, подойдя к Самуилу, наклонился к его уху и чуть слышно спросил:

– Не помешает ли присутствие принца тому, что мы должны предпринять этой ночью и завтра?

– Полагаю, что напротив.

– Отлично. В таком случае вперед!

И Самуил, Юлиус и Трихтер вошли туда, где кипело буйное праздничное сборище, которое Трихтер назвал теплой встречей лисов.

VII

Теплая встреча лисов

Когда дверь огромной залы распахнулась перед ними, Юлиус вначале не мог ничего ни рассмотреть, ни расслышать. Дым ослепил его, шум – оглушил. Но мало-помалу он освоился и несколько мгновений спустя уже мог различать шквалы криков и видеть облака табачного дыма. Потом в мерцании огромных люстр, слабом, как первые лучи рассвета, едва пробивающиеся сквозь толщу тумана, он в конце концов разглядел движение силуэтов, смутно напоминающих человеческие.

Ура и виваллера! Здесь были совсем желторотые студенты, способные длиной бороды посрамить любого халдейского мудреца; попадались также усы, которым позавидовала бы плакучая ива. Иные одеяния поражали самой забавной причудливостью: в толпе мелькали то магистерская шапочка Фауста, увенчанная пером, достойным головного убора гурона; то чудовищный галстук, в пышных складках которого голова его владельца по временам тонула без следа; то массивная золотая цепь, болтающаяся на голой шее. Но особенно часто на глаза попадались кружки, своими размерами способные смутить бочку, и трубки, вид которых ужаснул бы печную трубу.

Клубы дыма, вино, льющееся рекой, оглушительная музыка, взрывы хорового пения, больше похожие на рев, головокружительное вальсирование до упаду, звонкие поцелуи, запечатлеваемые на свежих щечках девушек, хохочущих во все горло, – все это смешивалось в странном дьявольском круговороте, напоминающем фантазии Гофмана.

В зале появление Самуила вызвало не меньший восторг, чем на улице. Ему тотчас принесли его трубку и его царственный великанский ремер, полный до краев.

– Что там? – спросил он.

– Крепкое пиво.

– Еще чего! Разве я похож на школяра из Йены? Выплесни это и принеси мне пунша.

Кубок наполнили пуншем. Туда вошло больше пинты. Самуил осушил кубок одним глотком. Залу потрясли дружные аплодисменты.

– Вы сущие мальчишки, – сказал Самуил, а потом, выдержав паузу, продолжал: – Однако я с горечью замечаю, что танцам недостает темперамента, да и пение вяло. – И обернувшись к оркестру, он крикнул: – Фанфары, ну же!

Затем Самуил направился прямо к золотому лису, танцевавшему с первой красавицей бала. Без церемоний отобрав у него партнершу, он сам закружился с ней.

Вся зала тотчас замерла, молчаливая, напряженно-внимательная. В танце Самуила было что-то странное, глубоко волнующее и властно притягивающее внимание зрителей. Начал Самуил с серьезным, почти суровым видом, потом его движения приобрели нежную замедленность влюбленного, гармонию которой порой внезапно нарушал резкий порывистый жест. Кружение убыстрялось – теперь это был вихрь, непостижимо стремительный, страстный, разнузданный, исполненный всепобеждающей мощи. Но вдруг, посреди этого безумного восторга, он мгновенно охладевал, переходя от лихорадочного блаженства к презрительному равнодушию, и на его губах проступала ироническая складка. В иные мгновения взор его наполнялся такой непередаваемой печалью, что сердце сжималось от жалости к нему, но глумливая гримаса или холодное пожатие плеч тотчас изгоняли этот sentimentalный порыв, делая его смешным и жалким. А то внезапно его меланхолия сменялась едкой горечью, в глазах загорался мрачный пламень, и тогда партнерша начинала трепетать в его объятиях, словно голубка в когтях грифа.

Это был неслыханный танец, в единый миг преодолевавший грань между небом и преисподней. Что до зрителей, то они не знали, плакать им, смеяться или содрогаться от ужаса.

Наконец Самуил застыл на месте, заключив свой танец таким страстным и заразительным кружением, что прочие танцоры, до этого неподвижно смотревшие на него, не устояли на месте, словно вовлеченные в водоворот, и следующие четверть часа вся зала неслась в умопомрачительном урагане вальса.

Затем Самуил уселся на свое место. Ни одна капелька пота не выступила на его лбу. Он только потребовал, чтобы ему принесли второй кубок пунша.

Один лишь Юлиус не участвовал в этой вакханалии. Он тонул в океане шума, а мысли его были далеко – в тихом доме ландекского пастора. Странное дело! В этой буре хриплых криков он не слышал ничего, кроме нежного голоса девушки, объясняющей ребенку алфавит под сенью деревьев.

Хозяин гостиницы, приблизившись к Самуилу, что-то шепнул ему. Оказалось, прибыл принц Карл Август и спрашивает у короля студентов разрешения посетить теплую встречу лисов.

– Пусть войдет, – сказал Самуил.

При появлении принца студиозусы в знак приветствия приподняли фуражки, один лишь Самуил не прикоснулся к своей. Он протянул принцу руку и произнес:

– Добро пожаловать, кузен.

И указал ему на место рядом с собой и Юлиусом.

В эту минуту маленькая гитаристка, только что пропевшая песенку Кёрнера, стала обходить публику, собирая пожертвования. Она остановилась перед Карлом Августом. Он оглянулся, пытаясь найти кого-нибудь из своей свиты, чтобы девочке дали денег. Но никому из сопровождающих не позволили войти в залу вместе с ним.

Тогда принц повернулся к Самуилу:

– Не соблаговолите ли вы заплатить за меня, сир?

– Охотно.

И Самуил, достав кошелек, сказал цыганочке:

– Держи. Эти пять фридрихсдоров от меня, короля, а вот тебе еще крейцер от принца. Здесь надобно заметить, что крейцер стоит немного больше одного лиара.

Неистовые рукоплескания потрясли залу. Сам молодой принц улыбался и аплодировал вместе со всеми.

Спустя несколько минут он удалился.

Почти тотчас Самуил жестом поманил к себе Юлиуса и шепнул ему:

– Пора.

Юлиус молча кивнул и вышел.

Между тем разгул достиг крайних пределов. Пыль и табачный дым в зале сгустились уже настолько, что воздух в нем стал непроглядным, как декабрьский туман. Теперь уже было совершенно невозможно разглядеть, кто входит туда и кто выходит.

Самуил поднялся и в свою очередь незаметно проскользнул к выходу.

VIII

Самуил почти удивлен

Была полночь – час, когда в немецких городах, даже университетских, все давно погружено в сон. В Гейдельберге уже часа два не бодрствовала ни одна живая душа, кроме участников теплой встречи лисов.

Самуил направился в сторону набережной. Он шел, выбирая самые пустынные улицы, и то и дело оглядывался, проверяя, нет ли слежки. Так он достиг берега Неккара и еще какое-то время шел вдоль реки. Потом вдруг свернул вправо и по склону горы стал подниматься к руинам Гейдельбергского дворца.

У подножия тропы, ступенями поднимавшейся по крутому откосу, Самуила вдруг остановили. Человек, внезапно выступивший из мрака, особенно густого под сенью купы деревьев, приблизился к нему и спросил:

– Куда вы идете?

– Поднимаюсь на вершину, дабы приблизиться к Господу, – отвечал Самуил условленной фразой.

– Проходите.

Самуил продолжил свое восхождение и вскоре добрался до верха лестницы.

Когда он направился ко дворцу, второй караульный, отделившись от стены там, где была потайная дверь, спросил:

– Что вы делаете здесь в столь поздний час?

– Я делаю... – начал было Самуил, но, вместо того чтобы проговорить до конца пароль, вдруг осекся. Ему вздумалось пошутить. Это была одна из тех странных причуд, что порой овладевали его умом.

– Вы спрашиваете, что я здесь делаю в такой час? – повторил он тоном жизнерадостного простака. – Да ничего, черт возьми! Прогуливаюсь.

Караульный вздрогнул и, словно в порыве гнева, с силой ударил в стену кованой тростью, которую он держал в руке.

– Мой вам совет: ступайте-ка своей дорогой, – сказал он Самуилу. – Ни это время, ни это место не годятся для прогулок.

Самуил пожал плечами:

– А вот я желаю полюбоваться развалинами в лунном свете. Кто вы такой, чтобы мне в этом помешать?

– Я один из караульных, стоящих на страже дворца. Нам приказано никого сюда не пропускать после десяти вечера.

– Приказы пишутся для филистеров, – усмехнулся Самуил. – А я студент!

И он сделал жест, словно собирался отстранить часового и войти.

– Ни шагу дальше или пеняйте на себя! – крикнул страж и быстро поднес руку к своей груди.

Самуилу показалось, что он вытащил из-за пазухи нож. И в то же мгновение человек пять-шесть, привлеченных сигналом тревоги – стуком кованой трости, – приблизились, бесшумно выскользнув из-за густого кустарника.

– О, прошу прощения! – смеясь, вскричал Самуил. – Вы, должно быть, и есть тот самый, кому надо ответить: «Я делаю дело тех, кто дремлет»?

Облегченно вздохнув, дозорный вновь спрятал нож на груди под жилетом. Его товарищи молча растворились в темноте.

– Вы вовремя взяли за ум, дружище, – заметил караульный. – Еще мгновение, и вам был бы конец.

– Ну, я бы еще посопротивлялся немного. Однако примите мои самые искренние комплименты. Я теперь убедился, что мы под надежной охраной.

– Э, пустое! А вы, приятель, все-таки не в меру дерзки – такими вещами не шутят.

– Мне доводилось шутить кое-чем и посерьезней.

Он вошел во двор. Полная луна озаряла старинный дворец Фридриха IV и Оттона Генриха. Это было великолепное зрелище – в лунном свете проступали бесчисленные скульптуры: на фасаде одного крыла здания теснились античные божества и химеры, фасад другого украшали пфальцграфы и императоры.

Однако Самуил не был расположен любоваться ими. Он ограничился тем, что бросил мимоходом непристойное словечко Венере, послал презрительный жест Карлу Великому и двинулся прямо ко входу в полуразрушенный дворец.

Здесь его задержал третий часовой:

– Кто вы?

– Один из тех, кто карает карающих.

– Идите за мной, – сказал дозорный.

Самуил последовал за своим провожатым, продираясь сквозь колючие заросли и перебираясь через груды развалин, притом ему не раз приходилось ушибать колено, наткнувшись на каменную плиту, скрытую среди высокой травы.

Когда он прошел таким образом среди обломков громадного дворца и великой истории, попирая ногою куски потолков, некогда возвышавшихся над головами стольких королей, провожатый остановился, открыл низенькую дверцу и указал на ход, ведущий под землю.

– Спуститесь туда, – сказал дозорный, – и ждите, ничего не предпринимая. За вами придут.

Он вновь закрыл дверцу, и Самуил оказался в полном мраке, куда не проникал ни единый луч света. Он стал на ощупь спускаться по тропе, круто уходящей вниз. Но вот тропа кончилась. Самуил попал в помещение, похожее на глубокий подвал. Его глаза еще не успели привыкнуть к темноте, когда он почувствовал, как чья-то рука сжала его пальцы, и голос Юлиуса произнес у самого уха:

– Опаздываешь. Они уже собрались. Давай слушать и смотреть.

Понемногу освоившись в потемках, Самуил смог различить сначала человеческие фигуры в нескольких шагах от себя, а затем и подобие комнаты, образованное скалистым выступом с одной стороны и стеной растительности – с другой.

Здесь, присев либо на гранитную плиту, либо на глыбу песчаника, либо на обломок статуи, расположились семь человек в масках: трое справа, трое слева, а один посередине и повыше прочих.

Лучик луны, просочившись сквозь расселину в камне, озарял этот таинственный конклав своим бледным светом.

– Введите наших двух героев, – произнес один из Семи.

Сказавший это, по-видимому, не был здесь главным. Председательствующий безмолвствовал и сохранял неподвижность.

Самуил сделал было шаг вперед, но тут вошли двое молодых людей в сопровождении третьего, известного знатока дуэльного кодекса.

Самуил и Юлиус знали обоих – то были их товарищи по Университету.

Тот из Семи, кто ранее приказал ввести их, теперь приступил к допросу.

– Ваше имя Отто Дормаген? – спросил он одного.

– Да.

– А вас зовут Франц Риттер?

– Да.

– Вы оба состоите в рядах Тугендбунда²?

– Да.

– Как его члены вы обязаны беспрекословно повиноваться нам. Вы не забыли об этом?

– Мы это помним.

– Вы оба из Гейдельбергского университета, причем из бургеншафта³. Следовательно, вам должны быть известны два его члена, занимающие в Университете весьма видное положение, – Самуил Гельб и Юлиус фон Гермелинфельд.

Самуил и Юлиус переглянулись во тьме.

– Мы знаем их, – отвечали студенты.

– Вы оба славитесь тем, что ловко владеете шпагой и тем, что вам всегда везло во всех этих поединках, которые ваши студенты затевают для возбуждения аппетита чуть не перед каждым завтраком. Не так ли?

– Это верно.

– Отлично! Наш приказ таков: завтра же, ни дня не медля, под любым предлогом вы затеете ссору с Юлиусом фон Гермелинфельдом и Самуилом Гельбом и будете драться с ними.

Самуил склонился к уху Юлиуса и шепнул:

– Смотри-ка, сцена не лишена оригинальности. Но какого черта нас заставляют при ней присутствовать?

– Вы повинуетесь? – спросил человек в маске.

Отто Дормаген и Франц Риттер молчали, по-видимому колеблясь. Затем Отто сделал попытку возразить:

– Однако Самуил и Юлиус тоже довольно хорошо умеют владеть шпагой.

– Лстец! – прошептал Самуил.

– Именно поэтому, – прозвучал голос человека в маске, – мы избрали двух таких бойцов, как вы.

– Там, где надо действовать наверняка, – заметил Франц, – кинжал надежнее шпаги.

– Еще бы! – хмыкнул Самуил.

Человек в маске продолжал:

– Необходимо сделать так, чтобы все выглядело естественно. Дуэли между студентами – явление повседневное, это не вызовет подозрений.

Оба студиязуса, казалось, все еще пребывали в нерешительности.

– Подумайте о том, – вновь зазвучал голос неизвестного в маске, – что первого июня, всего через десять дней, состоится Генеральная ассамблея и мы должны будем испросить у нее для вас либо награды, либо наказания.

– Я повинуюсь, – заявил Франц Риттер.

– Я повинуюсь, – заявил Отто Дормаген.

– Превосходно. Вооружитесь мужеством, и удачи вам. Вы свободны.

Франц и Отто вышли, сопровождаемые тем же человеком, который привел их сюда. Семеро хранили молчание.

Минут через пять тот же провожатый вернулся и доложил:

– Они удалились.

– Приведите их соперников, – приказал тот, кто говорил от имени Семи.

Провожатый направился туда, где прятались Юлиус и Самуил. Те ждали.

– Приблизьтесь, – сказал он.

² Союз Добродетели. (Примеч. автора.)

³ Столпы студенчества. (Примеч. автора.)

И друзья выступили на середину этой странной залы, где заседал Совет семи, чтобы в свою очередь предстать перед людьми в черных масках.

IX

Самуил почти взволнован

Тот же самый человек, что ранее допрашивал Франца и Отто, теперь заговорил снова.

– Ваше имя Юлиус фон Гермелинфельд? – обратился он к Юлиусу.

– Да.

– А вы Самуил Гельб?

– Да.

– Вы члены Тугендбунда и, подобно тем, также признаете, что должны повиноваться нам?

– Признаем.

– Вы видели лица и слышали имена двух студентов, которые только что были здесь? Вы поняли, что им велено сделать завтра и какое обещание они дали?

– Они обещали добыть шкуру неубитого медведя, – отвечал Самуил, едва ли способный воздержаться от шуток даже перед лицом Предвечного.

– Вас вызовут на ссору. Дело дойдет до дуэли. Вы двое – самые искусные фехтовальщики во всем Гейдельбергском университете. Убивать их нет смысла. Вы ограничьтесь тем, что серьезно их раните. Готовы ли вы повиноваться?

– Я готов, – отозвался Юлиус.

– Отлично. А вы, Самуил Гельб? Вас что-то смущает?

– Гм! Да, есть обстоятельство, которое действительно заставляет меня призадуматься. Ведь вы требуете от нас в точности того же самого, к чему только что принудили тех двоих. Вот я и пытаюсь понять, зачем вы подобным образом натравливаете своих на своих же. До сих пор я полагал, что юная Германия не похожа на старую Англию и что Тугендбунд создавался не для того, чтобы развлекаться петушиными боями.

– Речь идет не о развлечении, – возразил человек в маске, – а о том, чтобы покарать виновных. Мы не обязаны давать вам отчет, но будет справедливо и небесполезно, если вы сможете разделить наше негодование: это укрепит ваш дух. Нам необходимо избавиться от двух фальшивых братьев, которые нас предают. Союз оказывает вам честь, вкладывая в ваши руки меч праведного возмездия.

– Откуда нам знать, чьи руки вы все-таки предпочитаете – их или наши? – не отступал Самуил. – Кто поручится, что вы желаете устранить не нас, а их?

– Тому порукой ваша совесть. Мы хотим наказать предателей: кому, как не вам, знать, предатели вы или нет?

– Разве вы не можете заблуждаться, сочтя нас предателями по ошибке?

– О маловерный брат! Если бы эта дуэль готовилась с умыслом против вас, мы бы призвали сюда только ваших противников, ваше присутствие нам бы не понадобилось. Получив наш секретный приказ, они бы вас оскорбили, а поскольку вы храбры, вы бы затеяли поединок, не догадываясь, что мы замешаны в этом деле. Мы же, напротив, предупредили вас заблаговременно, за целых десять дней. Вы проводили каникулы во Франкфурте, у себя на родине, и к вам туда явился странник с берегов Майна, наш посланец, не только передавший приказ прибыть сюда к двадцатому мая, но и предупредивший, что вам надлежит подготовиться к смертельному поединку, который ожидает вас тотчас по прибытии. Заметьте, что это уж слишком оригинальный способ расставлять вам сети!

– Однако, – не унимался Самуил, чьи надуманные сомнения служили прикрытием некоей тайной мысли, горько уязвлявшей его, – если Франц и Отто в самом деле предатели, почему вы поручаете нам не убить их, а только ранить?

Его собеседник на мгновение заколебался и, словно спрашивая совета, оглядел своих шестерых братьев. Те молча, одним лишь кивком, выразили свое согласие дать ответ, и человек в маске заговорил:

– Послушайте, для нас важно, чтобы вы действовали с полной уверенностью, ради этого мы готовы открыть вам свои намерения до конца. Итак, хотя устав требует от вас слепого безоговорочного послушания, вы получите ответ на ваши вопросы.

Он помолчал немного, потом продолжал:

– Вот уже семь месяцев, как подписан Венский мирный договор. Франция торжествует. В Германии ныне существуют лишь две реальные силы: одна из них – власть Наполеона, другая – Тугендбунд. В то время как правительства Австрии и Пруссии гнут шею под сапогом победителя, наш Союз продолжает свою борьбу. Там, где шпага бессильна, в дело вступает кинжал. Фридрих Штапс пожертвовал собой, его нож едва не превратил Шёнбрунн в алтарь независимости. Он мертв, но кровь мучеников освящает идеи, во имя которых они пали, и рождает новых верных. Наполеон знает это и неусыпно выслеживает нас. Он засылает к нам шпионов, Отто Дормаген и Франц Риттер – его люди, мы имеем на этот счет бесспорные доказательства. Их статус дает им право первого июня присутствовать на нашей Генеральной ассамблее, они рассчитывают на это в надежде выведать и продать нашим врагам важные решения, которые будут там объявлены. Как им воспрепятствовать? Убить, сказали вы? Но, лишившись их, наполеоновская полиция любой ценой постарается найти им замену. А между тем в наших интересах знать шпионов – и для того чтобы остерегаться их, и для того чтобы использовать этих людей, сообщая им ложные сведения, если потребуется ввести врага в заблуждение. Стало быть, их смерть не принесет нам выгоды. Нет, здесь нужна именно рана, притом глубокая, и того и другого надо заставить пролежать в постели настолько долго, чтобы они поднялись лишь после роспуска Ассамблеи. Навязав им роль зачинщиков ссоры, мы позаботились, чтобы у них не возникло и тени подозрения. Тогда они и далее будут исправно передавать французам те наши секреты, которые мы сочтем уместным им доверить. Теперь вам понятно, почему важно не убить их, а только ранить?

Однако Самуил не преминул задать еще один вопрос:

– А если все получится наоборот и они ранят нас?

– Тогда законы о дуэлях вынудят их первое время скрываться от правосудия, а у нас есть достаточно влиятельные сторонники, чтобы обеспечить преследование их со стороны властей и арест по меньшей мере на полмесяца.

– Ну да, в любом случае все складывается наилучшим образом... для Тугендбунда, – заметил Самуил.

Шестеро в масках зашевелились, проявляя признаки нетерпения. Седьмой же продолжил свою речь куда более сурово:

– Самуил Гельб, мы сообразовали дать вам объяснения, хотя имели право ограничиться приказом. Довольно слов. Вы намерены повиноваться? Да или нет?

– Я не говорил, что отказываюсь, – отвечал Самуил, – но, – продолжал он, обнаруживая, наконец, истинную подоплеку своих возражений, – разве я не вправе почувствовать себя несколько униженным заурядностью той задачи, которую Тугендбунд ставит перед нами? Насколько я понял, нас принимают за посредственностей и не слишком-то нами дорожат. Признаюсь вам откровенно: я имею дерзость считать, что стою немножко больше той цены, какую мне дают. Я, первый в Гейдельберге, здесь играю третьеразрядную роль. Понятия не имея, кто вы такие, я желал бы верить, что среди вас есть люди, действительно в чем-то превосходящие меня. Если угодно, я готов склониться перед тем, кто сейчас говорил со мною и чей голос, как мне думается, я уже слышал сегодня вечером. Но смею утверждать, что на высших ступенях вашей иерархии немало таких, с кем я мог бы равняться или даже превзойти их. Таким образом, я нахожу, что вы бы могли найти для нас дело позначительнее.

Вы используете руку там, где с большим толком могли бы использовать голову. Я сказал. Завтра я буду действовать.

Тогда один из Семи, тот, кто сидел на каменной плите чуть выше прочих и до сей поры не произнес ни единого слова и даже не шелохнулся, заговорил голосом размеренным и суровым:

– Самуил Гельб, мы знаем тебя. Ты был принят в Тугендбунд, ибо успешно прошел испытания. И откуда тебе знать, не является ли то, что происходит сейчас, еще одним испытанием? Ты нам известен как человек выдающегося ума и мощной воли. Для тебя желать значит мочь. Но тебе недостает доброты сердца, веры, самоотречения. Самуил Гельб, я опасаюсь, что ты вступил в наши ряды не во имя свободы для всех, а ради собственного тщеславия, не затем, чтобы служить нашему делу, а чтобы заставить наши силы служить твоим интересам.

Но мы боремся и страдаем не ради чьих-то амбиций, нами движет вера. Здесь не может быть великих и малых задач: все подчинено единой цели. Среди нас нет первых и последних, есть лишь братья, сплоченные верой, предпочтение подобает только мученикам. Тебе оно оказано, коль скоро ты был избран для опасного дела. И что же? Мы просим тебя сослужить нам службу, и ты спрашиваешь: «Почему?» А должен был бы ответить: «Благодарю».

Несчастный! Ты подвергаешь сомнению все, кроме самого себя. Мы же не сомневаемся в твоих доблестях, твоя добродетель – вот что внушает нам сомнение. Быть может, именно поэтому ты до сих пор не принят в круг вождей Союза Добродетели.

Самуил с глубоким вниманием слушал эту назидательную и властную речь.

По-видимому, она его поразила: когда, помолчав, он заговорил вновь, его голос звучал совсем иначе.

– Вы не так меня поняли, – произнес он. – Если я пытался уверить вас, что стою больше, чем вы думаете, то побуждала меня к тому забота об интересах дела, но не его исполнителя. Отныне пусть мои поступки говорят сами за себя. Завтра для начала я докажу, что способен быть вашим простым солдатом – и не более чем солдатом.

– Хорошо, – отвечал председательствующий. – Мы полагаемся на тебя. Ты же положишься на Господа.

По его знаку человек, ранее приведший сюда Юлиуса и Самуила, приблизился и снова повел их за собой. Вслед за провожатым они поднялись по наклонной тропе, по которой недавно спускались, пробрались через груды развалин, миновали трех дозорных и наконец достигли города, погруженного в глубокий сон.

Полчаса спустя друзья уже были в гостинице «Лебедь», в комнате Самуила.

Х

Игра с жизнью и смертью

Ласкающий воздух майской ночи струился в открытое окно, и звезды блаженно купались в нежном, умиротворяющем сиянии луны.

Самуил и Юлиус молчали. Оба еще находились под впечатлением таинственной сцены, свидетелями и участниками которой они только что стали. Для Юлиуса к этим впечатлениям примешивались мечты о Христиане, на этот раз действительно вместе с мыслями об отце. Что касается Самуила, то все его раздумья были сосредоточены на единственной персоне – на самом себе.

Смутить нашего надменного ученого мужа было не так просто, однако председатель верховного собрания несомненно почти достиг такого редкостного эффекта. «Кто это мог быть, – спрашивал себя Самуил, – человек, говоривший с такой непререкаемой властью, вождь над вождями, глава общества, среди членов которого есть принцы крови? Что могло помешать мне представить себе под той маской самого императора?

О! Стать в один прекрасный день главой столь властительного, всемогущего сообщества – вот это мечта! Держать в своих руках уже не жалкие судьбы отдельных лиц, но судьбы целых народов – вот это роль!»

Так говорил себе Самуил, потому-то его и поразила до глубины души суровая отповедь таинственного председателя.

Она заставила Самуила сделать ужасное, постыдное открытие: ему, считавшему себя воплощением всех пороков, заслуживающих названия великих, как выяснилось, недоставало величайшего из них – лицемерия! Не значило ли это, что его сила теряет половину? Подумать только, он оказался до такой степени неосмотрительным, что в порыве гордости выдал свои надежды, позволил догадаться о своей подлинной значительности тем, кто уже облечен властью! Их, уж верно, вовсе не соблазняет перспектива поделиться ею с личностью, столь сильно жаждущей ее. Какое ребячество! Что за непростительная глупость!

«Решительно, Яго – настоящий пример великого человека, – размышлял Самуил. – Черт возьми, ведь когда садишься за карточный стол, главное – выиграть, и не важно, какой ценой».

Потом, вскочив со своего кресла, он большими шагами заходил по комнате. Вскинув голову, стиснув кулаки, с горящими глазами, он теперь говорил себе:

«Ну, нет! Нет уж! Лучше проигрыш, чем плутовство! В конечном счете дерзость приносит радости и триумфы более величественные, чем низость! Я подожду еще несколько лет, прежде чем превратиться в Тартюфа. Итак, останемся титаном и попробуем взять небо приступом, а не станем исподтишка пролезать туда из лакейской».

Он остановился перед Юлиусом: тот, склонив голову на руки, казалось, погрузился в глубокую задумчивость.

– Ты не думаешь, что нам пора спать? – сказал Самуил, положив ему руку на плечо.

Юлиус, очнувшись от своих мечтаний, отвечал:

– Нет, нет! Сначала мне надо написать письмо.

– Кому? Уж не Христиане ли?

– О, что ты! Это невозможно. Под каким предлогом, по какому праву я стал бы ей писать? Нет, я хочу написать отцу.

– Ты же совершенно измотан. Напишешь завтра.

– Нет, я должен сделать это немедленно, не откладывая. Не отговаривай меня, Самуил, я буду писать сейчас.

– Что ж, – решил Самуил. – В таком случае и я тоже напишу этому великому человеку. По тому же поводу, с теми же основаниями.

И он прошептал сквозь зубы:

«Мое послание будет написано теми чернилами, какие Хам выбрал бы для письма Ною. Пора мне сжечь свои корабли – для начала это будет недурно».

Потом, опять вслух, он обратился к Юлиусу:

– Прежде чем сочинять письма, давай условимся об одном важном предмете.

– О каком?

– Мы завтра деремся с Францем и Отто. Им поручено вызвать нас на ссору – пусть так. Но и мы можем поспособствовать, дав им для этого удобный повод, а также заранее решив, кто кому достанется в противники, чтобы уж потом сознательно искать встречи с одним, избегая другого. Так вот, Отто Дормаген бесспорно сильнейший из двоих.

– И что же?

– Если говорить о нас, твоя скромность должна заставить тебя согласиться, что я владею шпагой лучше, чем ты.

– Возможно. Дальше?

– Следовательно, мой дорогой, будет только разумно, если Дормагеном займусь я. И я им действительно займусь, ты же со своей стороны позаботься о Риттере.

– Иными словами, ты во мне сомневаешься? Ну, спасибо!

– Не глупи. В интересах Тугендбунда, если не в твоих собственных, я хочу сделать все возможное, чтобы обеспечить нашу победу. Только и всего. Тебе даже нет нужды благодарить меня за это. Вспомни, ведь у Дормагена есть один до крайности опасный прием.

– Тем более! Я ни в коем случае не соглашусь делить опасность иначе чем поровну.

– Ах, ты решил корчить из себя гордеца? Ну, как угодно! Впрочем, – продолжал Самуил, – я и сам, уж конечно, не менее спесив, а это значит, что завтра мы оба сочтем себя обязанными гоняться вдвоем за более опасным противником. Каждый при этом будет стараться опередить другого, и вдвоем мы затеем вокруг вышеупомянутого Отто нелепую суету. Таким образом, вовсе не они, а мы окажемся зачинщиками ссоры, роли переменятся, что с нашей стороны будет прямым неповиновением приказу.

– Тогда бери Франца, а Отто оставь мне.

– Какое же ты дитя! – вздохнул Самуил. – Ну, давай бросим жребий.

– Что ж, согласен.

– И на том спасибо.

Самуил написал имена Отто и Франца на двух клочках бумаги.

– Честное слово, это полнейшая нелепость – то, к чему ты меня вынуждаешь, – ворчал он, сворачивая бумажки в трубочку, укладывая их в фуражку и встряхивая ее. – Не понимаю, как может человек пожертвовать своей разумной волей, своим правом на свободный выбор, предпочтя всему этому каприз слепого случая. Тяни свой жребий. Если тебе достанется Дормаген, считай, что почти наверняка вытаскил смертный приговор. Это будет означать, что ты позволишь судьбе отметить тебя своим клеймом, будто барана, которого отправляют под нож мясника, – вот уж славное, поистине возвышенное деяние!

Юлиус стал уже разворачивать вынутую бумажку, но вдруг остановился.

– Нет, – решил он. – Я лучше прочту это потом, когда письмо отцу будет уже написано.

И он засунул листок в Библию.

– Черт возьми, – сказал Самуил, – я, пожалуй, поступлю так же. Из равнодушия.

И он спрятал свою бумажку в карман.

Потом оба уселись друг напротив друга за письменный стол и, озаряемые светом одной и той же лампы, стали писать.

Письмо часто бывает зеркалом души. Прочтем же их оба – письмо Юлиуса и письмо Самуила.

Начнем с Юлиуса. Вот что он писал:

«Мой бесконечно дорогой и почитаемый отец!

Я сознаю и глубоко чувствую, сколь многим я Вам обязан. От Вас я получил не только громкое имя, имя величайшего ученого-химика нашей эпохи, и не только значительное состояние, плод славных трудов, знаменитых во всей Европе. Кроме этого, что самое главное, Вы одарили меня безмерной, неисчерпаемой нежностью, ставшей утешением для ребенка, не знавшего материнской ласки. Верьте, что Ваши заботы и снисходительность глубоко проникли в мое сердце, благодаря им я стал Вашим сыном вдвойне: я люблю Вас и как отца, и как мать.

Я испытываю потребность высказать Вам все это именно теперь, когда мой внезапный отъезд из Франкфурта наперекор Вашей воле, казалось бы, изобличает мое равнодушие и сыновнюю неблагодарность. Уезжая в Кассель, Вы запретили мне возвращаться в Гейдельберг. Вы желали послать меня в Йенский университет, где я был бы подальше от Самуила, чье влияние на меня внушает Вам беспокойство. Возвратившись во Франкфурт, Вы будете сердиться на меня за то, что я, воспользовавшись Вашим отсутствием, сбежал сюда. Но выслушайте меня, мой великодушный отец, и тогда, я верю, Вы меня простите.

То, что ныне привело меня в Гейдельберг, не имеет ничего общего с неблагодарностью или желанием ускользнуть из-под Вашей опеки. Поступить так мне повелевал непрекращаемый долг. Я не могу сказать Вам, что это за долг, ибо ответственность, сопряженная с занимаемым Вами положением, и Ваши собственные обязанности официального лица, быть может, не позволили бы Вам сохранить мою тайну.

Что касается влияния, которое может иметь на меня Самуил, то я его не отрицаю. Да, он подавляет мою волю, и этому воздействию я не в силах противостоять. Оно сродни насилию, это дурное, возможно, даже губительное воздействие, но нужное мне. Я, как и Вы, вижу его недостатки, но, в отличие от Вас, я вижу еще и свои собственные. Да, я мягче его, добрее, но мне недостает решительности и твердости духа. Скука и брезгливость слишком легко берут верх над моей душой, отвращая от деятельной жизни. Я слишком быстро от нее устаю. Мое спокойствие сродни вялости, а сердечная нежность отдает сонной ленью. А Самуил будит меня, заставляет встряхнуться.

Я думаю, нет, точнее – я боюсь, что Самуил со своей кипучей энергией, неутомимой страстностью и волей, ежеминутно готовой к борьбе, необходим мне с моей вечной апатией. Только рядом с ним я чувствую, что живу. Когда же его нет, я насилу влачу свое существование, я прозябаю. Его силы хватает на нас двоих. От него исходит все, что есть во мне решительного, предприимчивого. Без него у меня опускаются руки. Его хищная веселость, его едкие насмешки будоражат мою кровь. Он словно опьяняет меня. Притом он знает это и злоупотребляет моей зависимостью – вот уж про кого не скажешь, что в его груди бьется любящее, преданное сердце. Но что Вы хотите? Когда проводник расталкивает путника, задремавшего в снегу, разве его упрекают за грубость? А питье, что обжигает ему губы, выводя из смертоносного оцепенения, можно ли корить за то, что оно горько? Короче, каким Вы предпочитаете меня видеть: хмельным или мертвым?

В конечном счете мое путешествие не свелось к одним лишь тяготам. Я возвращался через Оденвальд и посетил чудесную местность, которую никогда прежде не видел. В следующем письме я подробно опишу Вам все впечатления, испытанные во время той восхитительной поездки. Я открою Вам душу, Вам, моему самому близкому другу. Там, в Оденвальде, я попал в один дом, а в том доме... Но надо ли говорить с Вами об этом? Не станете

ли и Вы смеяться надо мной? Вы тоже? Впрочем, пока я и сам не хочу, не должен вызывать в памяти эти мысли, этот образ...

Возвращаясь к сути моего письма. Простите мне мою строптивость, отец. Поверьте, сейчас мне особенно важно думать, что Вы прощаете меня... Боже правый! Мои таинственные намеки, может быть, вас встревожат? Дорогой отец, если Господь не оставит нас, я прибавлю к этому письму два слова, которые Вас успокоят. Если же нет... если я ничего уже не смогу прибавить, Вы ведь простите меня, не правда ли?..»

Уже несколько минут Юлиус из последних сил боролся с одолевающей его усталостью. Когда же он дошел до последних слов, перо выпало из его руки, он уронил голову на левую руку, глаза сами собой закрылись, и он уснул.

Заметив это, Самуил окликнул его:

– Эй! Юлиус!

Юлиус не пошевелился.

«Жалкое создание! – подумал Самуил, также оторвавшись от своего занятия. – Каких-нибудь восемнадцати часов без сна оказалось довольно, чтобы свалить его с ног. Он хоть закончил свою эпистолу? Поглядим, что он там пишет?»

Без всяких церемоний Самуил взял письмо Юлиуса и прочел его. Когда он дошел до строк, где говорилось о нем, на его губах проступила язвительная усмешка.

– Да, – пробормотал он, – да, Юлиус, ты мой, ты принадлежишь мне, притом моя власть еще крепче, чем вы полагаете – ты и твой отец. Вот уже два года я владею твоей душой, а в настоящий момент, может быть, и сама твоя жизнь в моих руках. Кстати, самая пора выяснить, как обстоит дело.

Самуил достал из кармана бумажку, которую он вытянул по жребии, развернул и прочел: «*Франц Риттер*».

Он расхохотался:

– Итак, по-видимому, теперь лишь от меня зависит, жить этому младенцу или умереть. Стоит мне оставить все как есть, и Отто Дормаген проткнет его как цыпленка. Однако он спит, так что я бы вполне мог вынуть его бумажонку из Библии и аккуратно всунуть на ее место свою. Сделаю я это? А может быть, не сделаю? Черт побери, сам не знаю! Вот положение как раз в моем вкусе. Держать в своих руках жизнь человеческого существа, словно простой стаканчик для игры в кости, – это по мне! Играть с жизнью и смертью – всем забавам забава! Продлим же это развлечение, достойное богов. Прежде чем принять решение, я закончу свое письмо, разумеется, не столь почтительное, как у Юлиуса, хотя я имею те же... гм... естественные причины чтить знаменитого барона.

Послание Самуила и в самом деле было довольно дерзким.

XI

Credo in hominem⁴...

Вот оно, это письмо. Самуил поистине кощунствует, но само название этой книги дает нам право привести его святотатственные откровения от начала до конца.

«Милостивый государь и прославленный учитель, действительно ли Вы искренно веруете в Господа?»

То есть, давайте сразу уточним: веруете ли Вы в божество, существующее помимо нас, одинокое, эгоистичное и спесивое, в создателя, властителя и судию всего сущего, в Бога, который, если он не провидит грядущего, слеп и безрассуден так же, как любой глава исполнительной власти, а если провидит, бессилён и бездарен, словно сочинитель скверных водевилей, ибо человек, его шедевр, не более чем слабое, зависимое и глупое создание?

Или, быть может, Вы считаете то, что принято именовать Богом, неотторжимым от жизни человечества и здесь-то, в этой неотторжимости, волей-неволей признаваемой, таится смысл утверждения, излюбленного вами, христианами, что Бог сделался человеком?

Для просвещенного, не замороженного предрассудками сознания в наши дни это уже не вопрос. И все же перед теми чрезвычайными следствиями, кои предполагает сей очевидный факт, робкие умы отступают, охваченные ужасом и смятением.

Первое из этих следствий таково: если Бог есть человек, то человек равен Богу; когда я говорю “человек”, я разумею не обывателя или мужлана, не существо, считающее гроши, подобие скудоумного насекомого, или роющего землю быка, а того, кто мыслит, любит, наделен свободной волей, как Вы, как я, – короче, человека в полном смысле слова!

Затем, если человек есть Бог, он наделен всеми, правами Бога, ведь это очевидно. Он волен поступать так, как ему угодно, не зная иных пределов, кроме предела собственных сил. К гению неприменимы иные мерки, кроме меры его же гения. Щепетильность, угрызения совести – все это ни к чему. Наполеон, которого мы сейчас проклинаям и которого будем обожествлять лет через десять, если не раньше, знает или чувствует это, отсюда его величие. По отношению к стаду посредственностей гений имеет все права и пастуха, и мясника.

Сатана у Мильтона говорит: “Зло, стань моим добром!” Такое противопоставление само по себе ограничено. Что до меня, то я не вижу надобности непременно творить то, что люди называют злом, но равным образом не считаю себя обязанным стремиться к тому, что они именуют добром. Природа несет в себе все: не она ли, создавшая птиц, породила также и змей?

“Но как же быть с общественным порядком?” – спросите Вы.

Что ж, поговорим и о нем.

Вы крепко держитесь за общественные установления – понимаю, еще бы, ведь Вас общество одарило всем. Да мне с какой стати его чтить? Я еврей. Я незаконнорожденный. Я беден. Судьба была трижды немилостива ко мне без всякой моей вины, и за три эти беды ваше общество отторгает меня, карает, словно за тройное преступление. Так уж позвольте и мне не питать к обществу особой признательности. Горе тому, кто, имея пса, мучает его, отказывая даже в глотке воды, и вместо пищи потчует ударами палки. Однажды пес взбесится и укусит такого хозяина.

⁴ Верую в человека (лат.).

Итак, существует ли в мире хоть кто-нибудь, кому я был бы чем-либо обязан? Быть может, Вам? Давайте разберемся.

Есть во Франкфурте узкая, мрачная, грязная улица, прескверно вымощенная, полузадушенная двумя рядами шатающихся от ветхости домов, верхние этажи которых почти готовы столкнуться лбами, словно пьяницы, не имеющие сил удержаться на ногах; это улица, где лавки пусты, а их задние дворы завалены искореженным железом и битыми горшками; она обнесена оградой, и каждый вечер ее запирают на два оборота ключа, словно обиталище зачумленных, – это еврейский квартал.

Там царят вечные потемки: солнечные лучи не снисходят до этой гнусной клоаки. Что ж, Вы, не в пример солнцу, оказались менее брезгливы. Однажды, около двадцати лет назад, Вы забрели туда и, проходя мимо одного из домов, увидели сидевшую на его пороге с шитьем в руках девушку блистательной красоты. Она была так хороша, что Вы не преминули навестить туда снова.

В ту пору Вы еще не успели стать знаменитым ученым, которого вся Германия славит и осыпает благами, зато Вы были молоды и на редкость умны. А еврейку природа одарила пылким сердцем. Разумеется, Вы менее, чем кто-либо другой, склонны были поведать мне, чем обернулась встреча ее сердца с Вашим умом.

Но я знаю одно: я появился на свет год спустя. И я незаконнорожденный.

Моя мать впоследствии вышла замуж и умерла где-то в Венгрии. Я ее не знал, меня вырастил мой дед, старый Самуил Гельб, взявший на себя все заботы о сыне своей единственной дочери.

Что до моего отца, я, по всей вероятности, не раз встречал его, но он не подавал вида, что знает, кто я. Никогда, ни открыто, ни тайно, он не признал во мне сына. Возможно, что порой я оставался с ним наедине, но ни разу он не открыл мне свои объятия, не произнес, пусть совсем тихо, шепотом, этих двух слов: “Дитя мое!”

Я предполагал, что он сделал карьеру, принят в свете, женился. Конечно, не мог же он признать своим сыном еврея, ублюдка, ведь у моего отца было высокое положение, была супруга, был, возможно, и другой, законный сын...»

На этих-то словах Самуил и прервал свое письмо; заметив, что Юлиус дремлет, он окликнул его, напрасно пытаясь разбудить, потом вытащил из своего кармана бумажку с выпавшим ему жребием и прочел на ней имя Франца Риттера.

После некоторого колебания Самуил спрятал бумажку обратно в карман и снова принялся за письмо:

«Так я жил до двенадцати лет, не зная, ни кем был мой отец, ни кто такой Вы. И вот однажды утром я сидел, читая книгу, на том же самом пороге, где тринадцать лет назад Вы впервые увидели мою мать с ее шитьем. Внезапно подняв глаза, я заметил незнакомое мужчине сурового вида, пристально смотревшего на меня. Это были Вы. Потом Вы зашли в лавку. Мой дед, когда Вы стали его расспрашивать, подобострастно отвечал, что прилежания и ума мне хватает, я быстро воспринимаю все, чему меня учат, уже знаю французский и древнееврейский, которым он сам смог обучить меня, и читаю все книги, какие только попадают мне в руки, но он слишком беден, ему трудно дать мне настоящее образование.

Тогда Вы по безмерной Вашей доброте взяли меня в свою химическую лабораторию то ли учеником, то ли слугой. Но я внимал и учился. За семь лет благодаря моей железной конституции, позволявшей мне отдавать работе не только дни, но и ночи, благодаря той почти яростной энергии, с какой я погружался в занятия, я постиг одну за другой все тайны Вашей науки: к девятнадцати годам я знал столько же, сколько Вы.

Сверх того, я изучил латынь и греческий, для этого мне было достаточно присутствовать при занятиях Юлиуса.

Вы со временем даже немножко привязались ко мне, я ведь с таким интересом относился к Вашим опытам! А поскольку я умышленно дичился и помалкивал, Вы понятия не имели о том, что творилось в глубине моей души.

Но это не могло длиться вечно. Вы вскоре заметили, что в своих занятиях я более не следую за Вами, а двигаюсь один по избранному мною пути. Вы вспыхнули, я также. Между нами произошло объяснение.

Я спросил Вас, какова цель Вашей науки. “Сама наука”, – отвечали Вы. Но какой же в этом смысл? Нет, наука не может быть целью, она – средство. Я уже тогда хотел применить ее к жизни.

Подумать только, ведь в наших руках оказались ужасные тайны, непреодолимые природные силы! Благодаря нашим изысканиям и открытиям мы могли бы сеять смерть, возбуждать любовь, насыщать безумие, воспламенять или гасить сознание; стоило лишь уронить одну-единственную каплю известной нам жидкости на кожуцу плода, и мы, если бы пожелали, могли бы умертвить самого Наполеона! И что же? Не использовать это волшебное могущество, доставшееся нам ценой стольких трудов и благодаря нашим дарованиям? Предоставив этим сверхчеловеческим силам дремать в бездействии, эти орудия власти, арсенал покорения всего и вся будут пропадать втуне? Мы так и не пустим их в ход? Удовлетворимся тем, чтобы хранить их у себя в укромном уголке, подобно глупому скряге, без толку сидящему на сокровищах, которые могли бы сделать его властелином мира?

Услышав это, Вы вознегодовали. Вы даже оказали мне честь, признав меня человеком опасным. Из соображений осторожности Вы сочли за благо закрыть передо мной двери своей лаборатории и отказать мне в Ваших уроках, хотя, впрочем, они большие не были мне нужны. Вы отказались руководить мною, когда я уже успел опередить Вас. Наконец Вы отослали меня, тому уж два года, в Гейдельбергский университет и, сказать по правде, ничего лучше не могли бы придумать: мне как раз пришла пора изучить труды законников и философов этого лучшего из миров.

Но вот ведь незадача: Юлиус здесь со мной, и разумеется, я приобрел на него влияние, какое только может иметь ум, подобный моему, на такую душу, как у него. Отсюда Ваша ревность и родительские тревоги. Вы ведь так держитесь за этого сына: еще бы, Вы обожаєте в нем наследника Вашего состояния, Вашей славы и тринадцати букв Вашего родового имени. Ваша отцовская забота столь велика, что Вы даже попытались разлучить нас, отослав его в Иену, дабы вырвать из моих когтей. А он увязался за мной чуть ли не наперекор моему желанию. Моя ли в том вина?

Подведем же итог. Обязан ли я Вам чем-нибудь? Вы дали мне жизнь. Не пугайтесь: я говорю не о том, что я Ваш сын, ведь Вы всегда обращались со мной как с чужим, и я не стану пытаться сократить расстояние, по Вашей воле разделяющее нас. Нет, я разумею, что обязан Вам всем, что в моих глазах придает цену существованию, – моими знаниями, образованием, жизнью духа. Я также обязан Вам содержанием, которое Вы мне выплачиваете последние два года. Это все, не так ли?

Что ж, возвращаясь к тому, с чего начал это письмо. Я силен и хочу быть свободным, стать человеком, то есть подобием Бога. Завтра мне исполнится двадцать один год. Мой дед скончался две недели назад. Матери давно нет в живых. Отца же я не имел никогда. Никакие узы не привязывают меня ни к кому. Для меня имеют значение только мое самолюбие, если угодно, можете называть его тщеславием. Я ни в ком не нуждаюсь и не желаю быть обязанным никому.

Старый Самуил Гельб оставил мне около десяти тысяч флоринов. Первым долгом я отсылаю Вам с процентами сумму, которую Вы потратили на меня. Итак, с денежными

счетами покончено. Что до моих нравственных обязательств, то полагаю, что сейчас мне представился удобный повод расквитаться с Вами и в этом отношении, заодно доказав, что я способен на все, даже на добрые поступки.

Вашему сыну Юлиусу, единственному Вашему сыну, в эту минуту угрожает смертельная опасность. Обстоятельства, объяснять которые Вам было бы бесполезно, сложились так, что его жизнь зависит от записки, спрятанной между страницами его Библии. Если Юлиус ее найдет, он погиб. Так вот, послушайте, что я сделаю, как только поставлю свою подпись под этим прощальным письмом. Я встану, выну из своего кармана бумажку, похожую на ту, что по жребии досталась Юлиусу, и положу ее в Библию, а взамен возьму себе его записку, а с нею и опасность. Этим я исправлю немилость, допущенную Провидением по отношению к Вашему сыну. Теперь мы квиты?

Отныне мои знания всецело принадлежат мне и я буду использовать их так, как пожелаю.

Примите последний поклон и забвение.

Самуил Гельб».

Он поднялся, раскрыл Библию, вытащил листок и положил на его место тот, что был у него в кармане.

Самуил как раз прятал свою записку, когда Юлиус, разбуженный дневным светом, открыл глаза.

– Ну что, отдохнул немножко? – спросил его Самуил.

Юлиус протер глаза, приходя в себя. Едва опомнившись, он первым делом протянул руку к Библии, открыл ее и достал свой листок.

Там стояло: «*Франц Риттер*».

– Отлично! Мне достался тот, кого я хотел, – сказал Самуил бесстрастно. – Гм-гм! Это славное Провидение оказалось положительно умнее, чем я предполагал. Чего Доброго, оно и вправду знает, суждено ли нам увидеть закат этого солнца, которое сейчас взошло. Жаль только, что оно не хочет нам об этом сказать.

XII

Дражайший лис

Пока Юлиус дописывал и запечатывал свое письмо, Самуил раскурил трубку.

– А знаешь, – произнес он, выпуская клуб дыма, – ведь Дормагена и Риттера вполне могла посетить та же мысль, которая возникла у нас. Не исключено, что каждый из них также успел выбрать для себя противника. Надо их опередить, этого требует простая осторожность. Давай-ка предоставим им повод к ссоре, да такой, чтобы они уж не отвернулись.

– Поищем в «Распорядке», – отвечал Юлиус. – Там перечислены все вопросы чести.

– Ну, это не для нас! – отрезал Самуил. – Важно, чтобы причиной нашей драки была не школярская перепалка, а настоящая мужская ссора. Только она даст нам право как следует проткнуть этих господ. Скажи-ка, у твоего Риттера все еще прежняя любовница?

– Да, крошка Лолотта.

– Она ведь строила тебе глазки? Вот и отлично, все складывается как нельзя лучше. Мы отправимся прогуляться по ее улице. Погода прекрасная. Девушка теперь наверняка, по своему обыкновению, вяжет, сидя у окошка. Ты мимоходом отпустишь ей несколько любезностей, после этого нам останется только преспокойно ждать результата.

– Нет, – пробормотал Юлиус в смятении, – я предпочел бы другое средство.

– Это еще почему?

– Ну, не знаю, просто не хочется затевать дуэль из-за девчонки.

И он покраснел, а Самуил так и покатился со смеху:

– Святая простота! Он все еще способен краснеть!

– Да нет же, я...

– Ты думаешь о Христиане, ну же, признавайся! И желаешь сохранить ей верность столь нерушимую, что тебе претит даже видимость измены, не так ли?

– Ты с ума сошел! – возмутился Юлиус, которого всякий раз, когда Самуил упоминал о Христиане, охватывало необъяснимо тягостное чувство.

– Если я сошел с ума, то ты попросту нелеп, отказываясь молвить словечко Лолотте. Тебя это ни к чему не обязывает, а более удобного и вместе с тем серьезного повода нам не найти. Нет, конечно, если ты поклялся никогда более не говорить ни с кем, кроме Христианы, не смотреть ни на кого, кроме Христианы, не встречаться ни с кем, кроме...

– Ты мне надоел! Ладно, я согласен, – с усилием выдавил Юлиус.

– В добрый час! А мне-то как быть? Где то огниво, что поможет разжечь нашу ссору с Дормагеном? Дьявол меня побери, ничего не приходит в голову! Может быть, и у него есть своя возлюбленная? Впрочем, обоим использовать один и тот же маневр значило бы расписаться в прискорбной бедности воображения, да и потом, чтобы я – и вдруг дрался из-за женщины... нет, такому сюжету недостает правдоподобия.

Он погрузился в размышления, но уже через минуту вскричал:

– А-а! Это идея!

Самуил позвонил. Прибежал коридорный.

– Вы знаете моего дражайшего лиса, Людвиг Трихтера?

– Да, господин Самуил.

– Сейчас же ступайте в «Ворон», где он живет, и передайте ему, чтобы он немедленно явился сюда. Есть дело.

Коридорный исчез.

– А пока, – сказал Самуил, – не заняться ли нам своим туалетом?

Минут через десять примчался Людвиг Трихтер, задохнувшийся от поспешности, с глазами, опухшими ото сна.

Этот Трихтер, кого до сих пор мы видели всего однажды, и то мельком, являл собой тип вечного студента. Ему было никак не менее тридцати лет. На глазах этой достопочтенной персоны успели смениться четыре поколения студентов. Он имел бороду, ручьем сбегавшую на грудь. Горделивые усы, вздернутые, будто рога месяца, и глаза, потускневшие от застарелой привычки к кутежам, придавали физиономии этого трактирного Нестора весьма своеобразное выражение – притворно отеческое и вместе с тем вызывающее.

В своей манере одеваться Людвиг Трихтер ревностно подражал Самуилу, странности и причуды которого он также копировал, не зная меры и впадая в крайность, как всякий подражатель.

Возраст и опыт делали Трихтера в некоторых щекотливых обстоятельствах поистине незаменимым. Он держал в памяти все прецеденты, сообразно которым складывались правила взаимоотношений в студенческом сообществе, а также между студентами и филистерами. Этот человек был своего рода ходячей традицией Университета. Именно поэтому Самуил удостоил его звания своего дражайшего лиса.

Эта милость преисполнила Трихтера непомерного чванства. Достаточно было посмотреть, сколь подобострастно и приниженно он держался с Самуилом, чтобы догадаться, каким наглым и высокомерным он должен быть по отношению ко всем прочим.

Он вошел, держа в руках свою трубку, которую второпях не успел раскурить. Самуил снизошел до того, чтобы заметить это чрезвычайное доказательство рвения.

– Раскури же свою трубку, – произнес он. – Ты ничего еще не ел?

– Да, правда, сейчас уже семь часов, – забормотал Трихтер, довольно пристыженный, – но дело в том, дорогой мой сеньор, что я только сегодня утром вернулся с теплой встречи лисов и едва успел задремать, как ваш уважаемый посланец меня разбудил.

– Великолепно! Это очень кстати, что ты еще не ел. А теперь скажи мне вот что. Ведь Дормаген, будучи одной из наших самых замшелых твердынь, наверняка тоже имеет собственного дражайшего лиса?

– Да, это Фрессванст.

– А хорошо ли Фрессванст умеет пить?

– Бесподобно: его даже можно считать по этой части сильнейшим среди нас.

Самуил нахмурил брови.

– Как! – воскликнул он гневно. – Я имею своего лиса, и этот лис, оказывается, не по всем статьям превосходит прочих?

– О! – пробормотал Трихтер и выпрямился, уязвленный. – О! Мы, собственно, никогда не имели повода схватиться всерьез. Но если бы такой случай представился, я вполне способен потягаться с ним.

– Так пусть это случится сегодня же утром, если ты дорожишь моим уважением. Увы! Великая школа уходит в прошлое. Мы теряем свои традиции. Вот уже три месяца в Университете не было дуэли выпивох. Нужно, чтобы она состоялась, причем именно сегодня, тебе ясно? Брось вызов Фрессвансту. Я приказываю тебе утопить его репутацию.

– Довольно, сеньор, – отвечал Трихтер с важностью. – Позвольте: каким оружием мы будем состязаться? На простом пиве или на вине?

– На вине, Трихтер, разумеется, на вине! Предоставим пистолеты и пиво филистерам. Шпаги и вино – вот оружие, достойное студентов и всех истинных мужчин.

– Ты будешь мною доволен, даю слово. Я прямо отсюда отправлюсь в «Большую Бочку», Фрессванст обычно завтракает там.

– Ступай. Да объяви там всем, что мы с Юлиусом придем туда после лекции Тибо, ровно в половине десятого. Я буду твоим секундантом.

– Благодарю. А я уж приложу все силы, чтобы быть достойным тебя, великий человек!

XIII Лолотта

Когда Трихтер удалился, Самуил сказал Юлиусу:

– Порядок действий следующий: сначала пройдемся по улице, где живет Лолотта, затем отправимся на занятия по правоведению – важно, чтобы все выглядело, как обычно, – а уж потом в «Большую Бочку».

Не успели они спуститься по лестнице, как навстречу им попался слуга. Он нес письмо для Самуила.

– А, черт! – проворчал тот. – Неужели один из наших приятелей уже успел?..

Но письмо оказалось от профессора химии Заккеуса: он приглашал Самуила позавтракать с ним.

– Скажи своему господину, что сегодня я занят и смогу явиться к нему не ранее завтрашнего дня.

Лакей ушел.

– Бедняга-профессор, – усмехнулся Самуил. – Опять у него затруднения. Не будь меня, ума не приложу, как бы он читал свои лекции.

Они вышли из гостиницы и вскоре уже были на Хлебной улице.

Лолотта сидела у открытого окна первого этажа. Это была живая, стройная шатенка; из-под чепчика, небрежно откинутого назад, виднелись пышные блестящие локоны. Она шила.

– В тридцати шагах отсюда я вижу троих болтающих лисов, – сказал Самуил. – Значит, будет кому известить Риттера о случившемся. Ну-ка, заговори с малышкой.

– Да что я ей скажу?

– Все что угодно. Лишь бы видели, что ты с ней говорил.

Юлиус скрепя сердце приблизился к окну.

– Вы уже на ногах и трудитесь, Лолотта! – сказал он девушке. – Значит, этой ночью вы не были на теплой встрече лисов?

Лолотта вся порозовела от удовольствия – внимание Юлиуса явно пришлось ей по сердцу. Она встала и с шитьем в руках оперлась на подоконник.

– О нет, что вы, господин Юлиус! Я никогда не хожу на балы, ведь Франц так ревнив! Здравствуй, господин Самуил. Да вы, я думаю, и не заметили моего отсутствия, господин Юлиус?

– Как бы я осмелился возразить, ведь Франц так ревнив!

– Вот еще! – фыркнула девушка, соорудив пренебрежительную гримаску.

– А что это вы там шьете, Лолотта? – спросил Юлиус.

– Атласные подушечки для благовоний.

– Они очень милы. Вы бы не согласились уступить мне одну?

– Что за мысль! Зачем она вам?

– Да на память же, – вмешался Самуил. – На память о вас! Однако ты времени даром не теряешь, хоть и робок с виду!

– Возьмите, вот это самая красивая, – сказала Лолотта, храбро преодолевая замешательство.

– А вы бы не могли прикрепить мне ее к ленте?

– Какая страсть! – воскликнул Самуил с комической ужимкой. – Он от вас просто без ума!

– Так... Спасибо, моя добрая, прелестная Лолотта.

И Юлиус снял со своего мизинца колечко:

– Примите его, Лолотта, взамен.

– Я, право, не знаю, прилично ли мне...

– Вот еще! – в свою очередь усмехнулся Юлиус.

Лолотта взяла кольцо.

– А теперь, – сказал Юлиус, – нам пора откланяться. Сейчас начнутся занятия, мы уже опаздываем. На обратном пути я еще увижу вас, не так ли?

– Ну вот, вы уходите и даже не хотите пожать мне руку. Видно, вы все-таки боитесь Франца.

– Действуй! – шепнул Самуил. – Вон лисы идут сюда.

Трое лисов действительно проходили мимо дома Лолотты и видели, как Юлиус приложился к ручке красавицы.

– До скорой встречи, – сказал он ей и удалился вместе с Самуилом.

Когда они добрались до места, занятия уже были в разгаре. В Гейдельберге они очень похожи на то, что порой творится у нас в Париже. Аудитория была переполнена до отказа. Записи делали лишь немногие студенты. Еще человек двадцать слушали лекцию, но ничего не записывали. Все прочие болтали, подремывали, зевали. Некоторые привлекали к себе внимание особой живописностью своих поз. На краю одной из скамей растянулся на спине золотой лис, задрав ноги под прямым углом вверх и уперев их в стену. Другой лежал на животе, поставив локти на скамью и поддерживая голову ладонями, погруженный в чтение сборника патриотических песен. В том, что речи профессора не доходят до сознания студентов, сомнения не было, но, может быть, они хоть каким-то образом проникали в их спинной мозг или локтевые суставы?

Ни Франца, ни Отто на лекции Тибо не оказалось.

Едва она кончилась, Самуил и Юлиус вместе с толпой покинули здание, и когда часы пробили половину десятого, друзья уже входили в таверну «Большая Бочка», где должно было свершиться вакхическое – и в известном смысле трагическое – действо.

Главная зала, куда направились Юлиус и Самуил, буквально была переполнена студентами. Появление наших героев произвело переполох.

– А-а, Самуил пришел! Трихтер, а вот и твой сеньор! – закричали студенты.

Но если вначале внимание присутствовавших сосредоточилось на Самуиле, то затем оно тут же переключилось на Юлиуса, когда от толпы отделился Франц Риттер и, бледный как смерть, напрямик двинулся к нему.

Увидев, что он уже близко, Самуил успел шепнуть Юлиусу:

– Будь как можно сдержаннее! Надо, чтобы вся вина за вызов легла на наших противников, тогда в случае несчастья свидетели подтвердят, что зачинщиками были не мы.

Между тем Риттер уже оказался возле Юлиуса и преградил ему дорогу.

– Юлиус, – произнес он, – это тебя видели сегодня утром, когда ты по дороге на лекцию завел разговор с Лолоттой, не правда ли?

– Возможно. Я, должно быть, спрашивал у нее, как ты поживаешь, Франц.

– Не советую тебе шутить. Ты целовал ей руку, мне и это известно. Учти, что мне такие штучки не по душе.

– Учти, что такие штучки по душе ей.

– А, так ты еще зубоскалишь, чтобы меня взбесить!

– Нет, я шучу, чтобы тебя успокоить.

– Так вот, мой дорогой, единственно, что меня может успокоить, так это прогулка с тобой на гору Кайзерштуль.

– В самом деле, кровопускание в такую жару освежает. Если угодно, я тебе его устрою, милейший.

– Через час?

– Через час.

Они расстались. Юлиус возвратился к Самуилу.

– Я со своей стороны все устроил, – сказал он.

– Отлично! А сейчас мой черед, – отозвался Самуил.

XIV

Дуэль на вине

Самуил отозвал Трихтера в сторону, спеша выяснить, что дражайшийлис успел принять во исполнение его приказа.

– Ну вот, – начал Трихтер. – Когда я зашел в ту харчевню, Фрессванст завтракал. Я приблизился к его столу как бы невзначай, с таким видом, будто просто прохожу мимо. Но мимоходом я приподнял крышку на его кружке и, увидев, что там пенится всего-навсего пиво, обронил с оттенком неподдельного сострадания: «Слабый выпивоха!» Эти два слова, полные кроткого сочувствия, так его взбесили, что он подскочил будто ошпаренный, однако попытался все-таки сдержаться и отвечал довольно хладнокровно: «Это стоит хорошего удара шпаги». Нимало тем не смущенный, я столь же меланхолично произнес: «Ты сам видишь, как я был прав. Я унизил выпивоху, а отпор дает рубака. Впрочем, – добавил я, – мне безразлично, на чем сражаться, клинок мне подходит не меньше, чем кружка».

– Браво, мой славный лис! – воскликнул Самуил. – А он что?

– Тут он начал соображать, что к чему. «Ну, – говорит, – если тебе по вкусу поединок на стаканах, ты этим доставишь мне удовольствие, у меня как раз в глотке пересохло. Пойду поищу Отто Дормагена, пусть мой сеньор будет и моим секундантом». – «Мой сеньор Самуил Гельб будет моим, он тоже придет», – отвечал я. «Какое оружие ты предпочитаешь?» – «Вино и кое-что покрепче». – «Хвастун», – буркнул он вроде бы пренебрежительно, однако было видно, что он удивлен и не в силах скрыть невольное уважение. В эту самую минуту в голубом кабинете все готово для незабываемого сражения. Дормаген и Фрессванст уже там и ждут нас.

– Так не будем же заставлять их ждать, – сказал Самуил.

И вот вместе с Юлиусом они вошли в голубой кабинет.

Дуэли на пиве и вине даже в наше время не редкость в германских университетах. Поединок напитков, как любой другой, имеет твердые правила, на этот счет тоже есть свой «Распорядок». Его требования исполняются с методической точностью, последовательность всех действий установлена, и нарушать ее не позволено никому.

Каждый выпивоха в свою очередь заглывает некоторое количество спиртного, затем произносит ругательство в адрес своего противника, а тот после этого обязан и выпить, и выругаться вдвойне.

В дуэли на пиве количество выпитого решает все. Но там, где происходит поединок на вине, все сложнее: учитывается различная крепость и качество напитков, в соответствии с этим определяются нужные пропорции. То же касается ругани: есть своя иерархическая лестница и у оскорблений, среди бранных слов тоже существует аристократия, притом их ранг подобает знать каждому. Таким образом, поединок, начинаясь с бордоского вина, заканчивается водкой, от кружки восходит к кувшину, от колкого словца – к грубой брани, и продолжается все это до тех пор, пока один из противников окажется неспособен пошевелить языком – чтобы заговорить, и открыть рот – чтобы выпить. Он и считается побежденным.

При всем том дуэль напитков, как и любая другая, вполне может закончиться смертельным исходом. Поэтому полиция борется с нею всеми мыслимыми средствами, тем самым рискуя продлить ее век до бесконечности.

Когда Самуил, Юлиус и Трихтер вошли в голубой кабинет, там все уже было готово для предстоящей битвы. По концам стола теснились две грозные армии бутылок и склянок всевозможных размеров, цветов и форм. Вокруг в суровом безмолвии стоя ждали десятка два золотых лисов.

В комнате было всего два стула, установленные один напротив другого. На одном уже восседал Фрессванст. Трихтер уселся на другой.

Отто стоял рядом с Фрессванстом, Самуил приблизился к Трихтеру.

Достав из кармана флорин, Самуил подбросил его в воздух.

– Орел, – сказал Дормаген.

Флорин упал решкой вверх. Стало быть, начинать выпало Трихтеру.

О муза, воспой чаши, полные до краев, поведай о славной битве, в коей сии благородные сыны Германии явят миру, сколь растяжимой способна быть человеческая оболочка и до какой степени, наперекор законам физики, размеры вместилища могут порой уступать объему того, что оно умудрилось вместить!

Мы оставим без внимания первые стаканы и первые обидные слова: то были всего лишь легкие стычки, маленькие разведывательные вылазки, во время которых противники потратили всего-навсего несколько колкостей и опустошили каких-нибудь пять-шесть бутылок.

Нет, мы начнем с той минуты, когда почтенный лис, фаворит Самуила, взял бутылку мозельского, вылил добрую половину в громадный стакан богемского хрустала, с небрежным видом опорожнил его и поставил на стол пустым.

Потом он обратился к Фрессвансту и сказал ему:

– Ученый сухарь!

Доблестный Фрессванст презрительно усмехнулся. Он взял два точно таких же стакана, наполнил их доверху бордоским вином и выпил оба до последней капли, сохраняя рассеянную мину, словно думал о чем-то постороннем.

Совершив это огромное возлияние, он воскликнул:

– Вдохлеб!

Тогда все свидетели повернулись к великому Людвигу Трихтеру, который не замедлил доказать, что достоин столь почтительного внимания. На иерархической лестнице вин за бордо следует рейнское, но Трихтер в порыве благородного честолюбия решил перешагнуть эту ступень и сразу принялся за бургундское. Он схватил пузатую склянку с этим напитком, выплеснул ее содержимое в свой стакан, так что вино чуть не хлынуло через край, и, втянув в себя все до последней капли, вибрирующим голосом прокричал:

– Королевский прихвостень!

Это восклицание, да и вся бравада Трихтера не вызвали у его противника ничего, кроме легкого, но довольно обидного пожатия плеч. Прославленный Фрессванст не желал уступать: коль скоро Трихтер пренебрег рейнским, он в свою очередь перескочил через малагу, не побоявшись атаковать мадеру.

Но этого ему показалось мало, он хотел не только повторить подвиг соперника, но и придумать что-нибудь новенькое. Он схватил стакан, до сих пор так верно ему служивший, и разбил его, ударив об стол, потом взял бутылку и с невыразимым изяществом опрокинул ее горлышко прямо себе в рот.

Присутствующие, затаив дыхание, смотрели, как вино переливается из бутылки в глотку, причем Фрессванст лил его без остановки. Вот уже четверть бутылки опустела, потом и половина, и три четверти содержимого исчезли в чреве героя, а этот бесподобный Фрессванст все пил и пил.

Закончив, он поднял бутылку дном вверх – из нее не выпало ни единой капли.

Дрожь восхищения пробежала среди зрителей.

Но это было еще не все. Удар не засчитывался, если его не дополняло оскорбление в адрес противника. А тут мы вынуждены признать, что мужественный Фрессванст, похоже, не был более способен произнести что бы то ни было. Создавалось впечатление, что вся его энергия без остатка истратилась в этом жутком усилии. Наш непреклонный герой обвис

на своем стуле в полном изнеможении, с помутившимся взором, противоестественно раздутыми ноздрями и судорожно сомкнутым ртом. Мадера одолевала его. Но в конце концов этот славный Фрессванст все же взял над ней верх – он приоткрыл уста и смог выдавить:

– Трус!

Взрыв рукоплесканий был ему ответом.

И тогда, о Трихтер, ты достиг подлинных высот! Чувствуя, что наступает решающее мгновение, ты встал. Ты больше не разыгрывал беззаботность – в этом акте драмы ей уже не было места. Ты потряхнул своей густой шевелюрой, и в комнате повеяло холодком, словно то была львиная грива. Ты медленно отогнул манжету на правой руке, чтобы ничто не стесняло твоих движений (ибо нам претит мысль, что это делалось с низменной целью потянуть время), и движением, исполненным торжественности, поднес ко рту бутылку портвейна и опустошил всю до дна.

Потом, не дав себе ни единого мгновения, чтобы перевести дух, и как бы спеша покончить с этим делом, Трихтер отчетливо выговорил:

– Прохвост!

– Хорошо! – снизошел до похвалы Самуил.

Только после этого, когда Трихтер – герой, достойный эпоса, – пожелал сесть, выяснилось, что его представления о том, где, собственно, находится стул, были несколько туманны, и он тяжело осел на пол, растянувшись во весь рост, – поза, вне всякого сомнения, более чем извинительная для того, кого следовало признать почти что уопленником.

Тотчас все взгляды обратились на Фрессванста. Но увы! Его состояние, по-видимому, уже не оставляло надежды, что он чем-либо ответит на последний неслыханный выпад противника. Злополучный лис тоже сполз со своего стула и сидел теперь на полу, привалившись спиной к ножке стола и безжизненно раскинув ноги. Так он и застыл, ошалевший, с неподвижным взглядом, уперев в пол руки, одеревеневшие в бессознательном усилии.

Дормаген склонился над ним:

– Смелее! Ну же! Твоя очередь.

Фрессванст не пошевелился.

Настала пора прибегнуть к крайним средствам.

XV

Победа одной капли над восемью ведрами воды

Фрессванст оставался неумолимо глух ко всем увещаниям, бесчувственно сносил тычки и тумачи. Но вместе с тем он, казалось, еще сохранял проблески сознания.

Тогда Дормаген принял великое решение – он пошел на крайнюю меру, допускаемую правилами дуэли напитков.

Опустившись на колени близ поверженного Фрессванста и склонившись к самому его уху, он крикнул:

– Фрессванст! Эй, Фрессванст! Ты меня слышишь?

Тот сделал в ответ едва уловимое движение, и Дормаген продолжал самым торжественным тоном:

– Фрессванст! Скажи, сколько ударов шпаги получил великий Густав Адольф?

Не в силах произнести ни звука, Фрессванст кивнул один раз.

Дормаген сделал знак одному из студентов. Тот вышел и через минуту вернулся с ведром воды. Взяв его, Дормаген выплеснул воду на голову Фрессванста. Тот, по всей видимости, этого даже не заметил.

Снова наклонившись к его уху, Дормаген спросил:

– Сколько ударов сабли получил великий Густав Адольф?

Фрессванст дернул головой дважды.

Два студента отправились за двумя ведрами воды, содержимое которых было благоговейно вылито на его склоненный затылок. Фрессванст и глазом не моргнул.

Дормаген продолжил допрос:

– Сколько пуль попало в великого Густава Адольфа?

Пять кивков были ему ответом.

Теперь уже пятеро студентов принесли ведра, и на охваченного забытием выпивоху обрушилось настоящее наводнение.

После пятого ведра, которое в общей сложности было уже восьмым, Фрессванст скорчил гримасу, доказывающую, что сознание возвращается к нему.

Не теряя времени, Дормаген схватил со стола склянку можжевелевой настойки и стал вливать ее в рот Фрессванста. Принимая такую помощь, тот глотал дьявольское пойло, и оно после ледяного душа обжигало его как огонь. Он конвульсивно выпрямился, напрягив зад, и коснеющим языком сипло пробормотал:

– Убийца!

И тут же вновь повалился на пол, теперь уже окончательно.

Однако сторонники Дормагена возликовали. Трихтер, распростертый на полу, бесчувственный, полумертвый, был явно неспособен продолжать поединок.

– Наша взяла! – вскричал Дормаген.

– Ты так думаешь? – произнес Самуил.

Приблизившись к своему лису, он окликнул его, вложив в этот зов всю мощь как своего голоса, так и воли. Трихтер оставался глух. Самуил в ярости пнул его ногой. Трихтер не подавал признаков жизни. Самуил начал грубо трясти его – бесполезно. Тогда Самуил взял со стола склянку, подобную той, которую так доблестно опустошил Фрессванст, только в этой вместо можжевелевой была вишневая водка, и попытался просунуть горлышко в рот Трихтера, но тот инстинктивно стиснул зубы.

Присутствующие уже поздравляли Дормагена.

– О, человеческая воля, так ты смеешь мне противиться? – пробормотал Самуил в бешенстве.

Он поднялся, подошел к буфету, взял оттуда нож и воронку. Ножом он разжал зубы Трихтера, вставил между ними воронку и преспокойно стал лить туда вишневку. Водка капля за каплей стекала в пищевод бесчувственного лиса.

За все время этой процедуры Трихтер ни разу даже глаз не открыл. Зрители, склонившись над ним, с тревогой всматривались в его лицо. Было видно, что губы шевелятся, но тщетно: он не мог издать ни звука.

– Не засчитывается! – воскликнул Дормаген. – Он ничего не сказал!

Даже Юлиус, покачав головой, вздохнул:

– Надо признать, маловероятно, чтобы этот переполненный бочонок промолвил хоть слово.

Самуил поглядел на них в упор. Потом вытащил из кармана крошечный пузырек и, осторожно наклонив его, уронил одну каплю на губы Трихтера.

Он еще не успел убрать руку, как вдруг Трихтер дернулся, словно от электрического удара, выпрямился, вскочил на ноги, чихнул и, сверкая глазами, обличающим жестом направил на Фрессванста вытянутый перст. При этом он звонким голосом выкрикнул слово, которое в лексиконе студентов числилось не в пример более оскорбительным, чем «прохвост» и «убийца»:

– Болван!

Вокруг раздались возгласы изумления и восторга.

– Это жульничество! – закричал разъяренный Дормаген.

– Почему же? – осведомился Самуил, хмуря брови.

– Можно лить воду на головы противников, можно их трясти, можно силком вынуждать их пить. Но нельзя пускать в ход какие-то никому не известные колдовские снадобья.

– Позвольте! – запротестовал Самуил. – В дуэли выпивох допускается применять все, что можно пить.

– Верно! Он прав! – раздалось со всех сторон.

– Ну, так что это за отрава? – спросил Дормаген.

– Совсем простой раствор, – отвечал Самуил, – и я готов предоставить его в твоё распоряжение. Я прибавил – и заметь: совершенно открыто – одну его каплю к склянке вишневой водки. Учитывая количество, которое нужно выпить Фрессвансту, чтобы одержать верх, дай ему две капли, и он тоже заговорит.

– Давай, – протянул руку Дормаген.

– Вот тебе пузырек. Правда, тут нужно одно маленькое уточнение. Этот раствор не вполне безопасен. Если твой лис примет две капли, ему уж безусловно не выжить. Я дал своему всего одну, и то мне предстоит немного потрудиться, чтобы сохранить его для себя.

Невольная дрожь пробрала присутствующих.

– И предупреждаю, – продолжал Самуил, – если ты и решишься на такую крайнюю меру, последнее слово не останется за тобой даже при этом условии. Самуил Гельб не должен потерпеть поражение. Тогда я без колебаний пожертвую Трихтером и дам ему три капли.

Это было сказано с таким беспощадным хладнокровием, что, несмотря на страх, внушаемый Самуилом, среди присутствующих поднялся ропот. Юлиус почувствовал, как все его тело покрывается холодным потом.

Отто Дормаген, которому всеобщее возмущение придало решимости, сделал шаг к Самуилу и, глядя ему прямо в лицо, сказал:

– Наш язык беден, это вынуждает меня выразить мою мысль слишком слабыми словами: «Самуил Гельб, ты ничтожество и негодяй!»

Все с содроганием ждали, чем Самуил ответит на подобное оскорбление. Глаза короля студентов метнули молнию, рука судорожно дернулась, но уже через мгновение он вполне

овладел собой, его ответная реплика прозвучала как нельзя более бесстрастно. Впрочем, это спокойствие было еще ужаснее, чем его гнев:

– Мы деремся, и немедленно. Дитрих, будешь моим секундантом. Пусть друзья и секунданты позаботятся, чтобы к тому времени, когда мы прибудем на Кайзерштуль, там все было готово. Вдоль дороги надо расставить дозорных, иначе полиция нам все испортит. До нее, наверное, уже дошли слухи о дуэли Риттера с Гермелинфельдом. Следует принять меры, чтобы нам не помешали. Потому что, черт возьми, это будет схватка не из тех, какие затеваются потехи ради, тут уж я тому порукой! Мне впервые нанесли оскорбление, но оно будет и последним. Господа, я вам обещаю дуэль, о которой будут говорить даже камни мостовой! Идите же!

Заканчивая эту речь, он уже снова был королем студентов. Непререкаемая властность звучала в его словах, и каждый, кто им внимал, волей-неволей склонялся перед ним, готовый повиноваться. Следуя его распоряжениям, студенты, наполнявшие зал, стали расходиться, постепенно, небольшими компаниями по несколько человек, причем он вкратце указывал им, кому по какой дороге идти, чтобы не возбуждать подозрений, и где надлежит стать на часах, добравшись до Кайзерштуля.

Даже Дормаген удалился не прежде, чем дождался приказа этого генерала.

Наконец Самуил обратился к Юлиусу:

– Иди, встретимся у Акаций. Секундант у тебя есть?

– Да, Левальд.

– Отлично! До скорой встречи.

Юлиус вышел, но еще не из гостиницы, а только из залы. Сказать, что он сделал? Зашел в отдельный кабинет, заперся там на ключ, достал из своего бумажника увядший цветок шиповника, поцеловал его, потом осторожно вложил в атласную подушечку, полученную от Лолотты, накинул ее ленту себе на шею и спрятал драгоценную реликвию под одеждой. Покончив с этой мужской ребячливостью, он удовлетворенно улыбнулся и лишь тогда покинул гостиницу.

Между тем Самуил, оставшись в голубом кабинете наедине с двумя выпивохами, замертво распростертыми на полу, наклонился и приложил руку ко лбу Трихтера. Трихтер вздохнул.

– Это хорошо! – сказал Самуил.

Помолчав, он пробормотал себе под нос:

– Ну, Дормаген! Бросил своего лиса, а ведь малый был неподражаем. Впрочем, это добрый знак.

Самуил позвал коридорного и, указав ему на двух дуэлянтов, распорядился:

– В Мертвецкую.

Название Мертвецкой носила каморка, набитая соломой, куда оттаскивали пьяниц, если те, упившись до полного бесчувствия, нуждались в уходе.

Итак, Самуил, выйдя из гостиницы последним, направился в сторону горы Кайзерштуль, насвистывая «Виваллера».

XVI

Дуэль вчетвером

Как и было условлено, Самуил вскоре присоединился к Юлиусу и двум студентам, которым предстояло исполнить роль их секундантов.

Излюбленное студиязусами место поединков находилось за горой Кайзерштуль, в двух милях от Гейдельберга.

Пройдя первую милю, спутники начали принимать кое-какие меры предосторожности. Они оставили большую дорогу и далее шли уже тропами.

По временам они останавливались и оглядывались во все стороны, проверяя, нет ли слежки. Когда на пути им попадались обыватели, два секунданта – Дитрих и Левальд – направлялись напрямик к ним и посредством энергичных жестов, выразительность которых усугублялась тем, что в руках у студентов были кованые трости, предлагали поискать для прогулок другое место. Мирные бюргеры торопились последовать этому совету.

Все приказания Самуила были точно исполнены. Путникам снова и снова попадались студенческие дозоры, расставленные повсюду во избежание нежелательных сюрпризов. При таких встречах Дитрих вполголоса обменивался с дозорными парой слов, и те говорили: «Проходите».

Наконец через тридцать пять минут ходьбы они увидели впереди маленькую гостиницу, окруженную деревьями, свежеевыкрашенную, глядевшую радостно и уютно со своими зелеными ставнями и розовыми стенами, полускрытыми целым полчищем цветущих лиан, веселый натиск которых достигал крыши.

Миновав сад, который был пронизан ливнем солнечных лучей, прорывавшихся сквозь усыпанные цветами древесные кроны, четверо студентов вошли в залу, что была предназначена для танцевальных вечеров и поединков, – просторное помещение футов шестидесяти в длину и тридцати в ширину, где можно было в свое удовольствие вальсировать и драться, любить и умирать.

Риттер уже был здесь в компании студентов из голубого кабинета. Не хватало лишь Дормегена, но и он вскоре явился вместе со своим секундантом.

Четыре студента в ранге замшелых твердынь были заняты тем, что при помощи мела расчерчивали пол залы, отмечая пределы, каких каждая пара не должна преступать, дабы не помешать двум другим дуэлянтам.

В тоже время четверо золотых лисов привинчивали эфесы к отточенным трехгранным клинкам, напоминающим штыки.

Шпаги у студиязусов были разборные, чтобы при надобности развинчивать их и надежно прятать от посторонних глаз; в таких случаях клинок скрывается под рединготом, рукоять суют в карман – и все в порядке: шпионы одурачены.

В результате налицо оказалось четыре йенских эспадрона длиной в два с половиной фута каждый.

– Начнем? – предложил Риттер.

– Минуточку, – отозвался молодой человек, возившийся в углу с ящичком хирургических инструментов.

То был хирург, студент-медик, прибывший затем, чтобы по мере возможности зашить дыры и порезы, которые шпага вот-вот проделает в коже дуэлянтов.

Хирург подошел к двери, видневшейся в глубине зала, и крикнул:

– Поживее там!

Вошел слуга, неся две салфетки, миску и кружку воды. Все это он расположил рядом с ящичком.

Дормаген нетерпеливо следил за всеми этими приготовлениями, по временам бросая окружавшим его студентам резкие, отрывистые фразы. Франц без конца метался от хирурга к Отто и обратно. Юлиус был спокоен и суров.

Что до Самуила, то он, казалось, обо всем забыл, увлекшись борьбой с упрямым побегом, покрытым мелкими розами, – шаловливый ветерок играл им, во что бы то ни стало стремясь просунуть его в окно.

– Ну вот, теперь все готово, – сказал хирург.

Юлиус подошел к Самуилу, Риттер – к Дормагену.

Четверо секундантов сняли с вешалки, прибитой к стене, четыре войлочных нагрудника, четыре латные рукавицы и четыре пояса, подбитые ватой, и приблизились, собираясь надеть все это на противников.

Но Самуил оттолкнул Дитриха:

– Убери этот хлам.

– Но ведь таково правило, – запротестовал секундант, тыча пальцем в лежащий на столе открытый «Распорядок» – ветхий засаленный том в черном переплете с красными закладками.

– В «Распорядке», – произнес Самуил, – правила, касающиеся студенческих размолвок. А здесь ссора мужчин. Нельзя сводить ее к булавочным уколам. Сейчас время не напяливать нагрудники, а сбросить сюртуки.

И тотчас, подкрепляя слова действием, он снял свой сюртук и швырнул его в дальний угол залы.

Потом, схватив первую попавшуюся шпагу, упер ее острием в пол так, что она согнулась, сам же выпрямился и застыл в ожидании.

Отто Дормаген последовал его примеру, Юлиус и Франц поступили так же, и вот уже все четверо замерли друг против друга с обнаженными руками, открытой грудью и шпагой наготове.

Слова и поведение Самуила настроили присутствующих на серьезный лад. Все уже предчувствовали, что дело может кончиться мрачной развязкой.

Дитрих трижды хлопнул в ладоши, потом торжественно возгласил ритуальные слова:

– Звените, шпаги!

Четыре клинка сверкнули одновременно.

Зрители затаили дыхание, все взгляды были прикованы к дуэлянтам.

Первые выпады были как бы пробными: противники принаравливались друг к другу.

У Юлиуса и Франца Риттера силы, по-видимому, были равны. Гневное возбуждение, владевшее ревнивым Францем в момент вызова, теперь сменилось сосредоточенной холодной яростью. О Юлиусе можно было бы сказать, что он находится в наилучшей форме. Спокойный, твердый, отважный без бравады, он блистательно соединял в себе юношескую грацию и мужественную гордость, что пробуждается в храбром сердце перед лицом опасности. Короче, здесь обе стороны проявляли такую ловкость и присутствие духа, что эту схватку можно было принять не за дуэль, а за состязание фехтовальщиков, если бы по временам молниеносные атаки, которые, кажется, не могли обойтись без кровопролития и, однако, мгновенно отражались и тотчас возобновлялись с еще большей стремительностью, – если бы эти атаки не напоминали зрителям, что опасность реальна и жизнь или смерть человеческих существ держится на острие этих шпаг, таких изящных и проворных.

Вопреки обычаю, принятому участниками студенческих дуэлей, представляющих собою не столько настоящие поединки, сколько игру, хоть и более опасную, чем любая другая, ни Юлиус, ни Франц не произносили ни слова.

Бой второй пары дуэлянтов с первых мгновений выглядел еще серьезнее, еще страшнее.

У Самуила Гельба были такие важные преимущества как высокий рост и абсолютное хладнокровие, не изменявшее ему при любых испытаниях.

Но Отто Дормаген зато был легок, пылок, напорист и совершенно непредсказуем в своих дерзких внезапных выпадах.

Это было редкое и захватывающее зрелище: спокойная уверенность Самуила против кипучего задора его противника. Схватка подобных противоположностей загрозила зрителям: из этих двух шпаг одна была ослепительна и быстра, как мелькающий зигзаг молнии, а другая неумолима, невозмутима, надежна и пряма, словно игла громоотвода.

Самуил при этом не отказывал себе в удовольствии шутить и насмехаться. Бесстрастно и презрительно отражая бешеные атаки Дормагена, он попутно находил множество поводов для язвительных реплик, сопровождавших каждый парад.

Он отечески бранил Дормагена, предупреждал его о своих намерениях, давал советы, словно учитель фехтования, ведущий занятия с учеником:

– Плохо парируете. Я нарочно открылся! Начнем снова. Теперь в третьей позиции. Уже лучше! Юноша, вы делаете успехи. Внимание! Сейчас мой выпад. Видите, я отнюдь не шучу.

И, говоря так, он действительно не шутил. Дормаген насилу успел отскочить. Этот мощный прыжок был весьма кстати: еще мгновение – и шпага Самуила вонзилась бы ему в грудь.

Высокомерная беззаботность противника мало-помалу начала выводить Дормагена из себя. И чем он сильнее раздражался, вкладывая в свои удары ярость раненого самолюбия, тем более Самуил изощрялся в насмешках, так что его ядовитый, острый, как кинжал, язык разил не хуже шпаги.

Лицо Самуила излучало злобную радость. Чувствовалось, что опасность – его стихия, что в бедствии он находит наслаждение, а смерть для него – сама жизнь. По-своему он тоже был великолепен, в его резких, угловатых чертах, обычно исполненных властной силы, теперь сверх того проступила неотразимая пугающая красота. Его ноздри трепетали, губы кривились в гримасе, заменявшей ему улыбку, в которой сейчас было еще больше холодной дерзости, чем обычно; его желтоватые глаза, хищные и переменчивые, мерцали, как у тигра. Непередаваемое выражение свирепой гордыни, пронизывающее все его существо, внушало зрителям ужас, странно похожий на восторг. В иные мгновения его глаза вспыхивали таким надменным презрением к жизни, что вся зала словно бы озарялась их сумрачным сиянием.

При виде его невозмутимого спокойствия, уверенной и резкой точности каждого движения, к тому же сопровождаемого язвительными речами, достойными учителя фехтования, облаченного в панцирь, у присутствующих невольно мелькала мысль, что он неуязвим.

Дормаген, уже порядком издерганный, не в силах более выносить этот поток хладнокровных издевательств, решил покончить все разом, пустив в ход свой знаменитый прием, о котором Самуил предупреждал Юлиуса.

Это был и в самом деле чрезвычайно опасный ремиз – повторный укол, дерзкий и неудержимо грозный. Отражая выпад противника, Дормаген одновременно бросился вперед, нанося удар сверху вниз, а не достав с первого раза, мгновенно, не разгибаясь, прыгнул и ударил снова. Этот удвоенный напор, мощный, внезапный и сокрушительный, был страшен.

У зрителей вырвался невольный вскрик. Всем показалось, что Самуилу пришел конец.

Но Самуил, казалось, разгадал замысел Дормагена в то же самое мгновение и отскочил в сторону так ловко, что клинок, сколь бы ни был он молниеносным, только пропорол на боку его рубашку, вздувшуюся от стремительного движения.

Самуил усмехнулся, а Дормаген побледнел.

В это мгновение Юлиус оказался менее удачлив, чем его друг. Будучи в первой позиции, он с некоторым запозданием париловал стремительный удар из четвертой позиции, направленный в плечо, и клинок Риттера слегка задел его левую руку.

Тут вмешались секунданты, и первая схватка, увенчавшаяся двумя эффектными выпадами, была закончена.

XVII

Молитва ангела и талисман феи

Юлиуса и Франца пытались убедить, что пора на том и закончить поединок. Несколько слов, мимоходом сказанных гризетке, выглядели слишком несущественным поводом, чтобы доводить дело до серьезного кровопролития. Но у Франца, помимо ревности, был еще приказ Союза Добродетели. Юлиус же заявил:

– Оставьте, господа. Мы закончим не раньше, чем один из нас свалится к ногам другого. Если бы сюда приходили затем, чтобы обмениваться царапинами, шпаги были бы ни к чему, вполне хватило бы пары булавок.

И он повернулся к Риттеру:

– Ну как? Ты отдохнул?

Что касается Отто и Самуила, никому даже на миг не пришло в голову, что их можно уговорить остановиться, такое мстительное бешенство обуревало первого и столько каменной, неумолимой решимости угадывалось во втором.

Если бой и прекратился на время, то о шутках Самуила этого не скажешь: он продолжал изощряться.

– Заметь, – сказал он Дитриху, – что всякое преимущество в этом мире имеет свои неприятные стороны. Скажем, пресловутый прием нашего Отто – несомненное преимущество, но лишь до той поры, пока он его не подвел. Зато теперь, как видишь, мой досточтимый противник вконец упал духом.

– Ты полагаешь? – процедил Дормаген, разъяренный настолько же, насколько подавленный.

– Ах, мой любезный Отто, если мне позволено дать тебе совет, – продолжал Самуил, – я бы сказал, что с твоей стороны сейчас было бы разумнее воздержаться от разговоров. Ты так запыхался после своих в высшей степени похвальных усилий воткнуть мне в кожу полфута заостренного железа, что уже едва дышишь, а пытаешься еще разглагольствовать, рискуешь от натуги совсем задохнуться.

Дормаген схватил шпагу.

– К барьеру! – проревел он. – Сию же минуту!

Такая ярость была в его голосе, что секунданты, оторопев, тотчас дали сигнал к бою.

Юлиус в это время думал:

«Сейчас одиннадцать. Она, наверное, в часовне. Может быть, она молится за меня. Я знаю, я уверен, это ее молитва только что спасла меня».

Боевой сигнал пробудил его от сладких грез, но надо заметить, что он очнулся от них еще более собранным и готовым к борьбе.

Дуэль возобновилась.

Дормаген на этот раз более не обращал внимания на издевательства Самуила. Охваченный слепым бешенством, он напал, почти не заботясь о защите, в жажде нанести рану, забыв о возможности ее получить. Но, как всегда бывает, страсть туманила его мозг, жар, обжигавший душу, заставлял руку лихорадочно вздрагивать, так что его удары были скорее мощны, нежели точны.

Самуил заметил, что противник дошел до иступления, и делал все, чтобы еще более распалить его. Он теперь затеял новую игру. На этот раз, вместо того чтобы, как вначале, наружно выказывать невозмутимое спокойствие, он принялся прыгать, вертеться, то отступая, то наскакивая, перебрасывать шпагу из одной руки в другую, изводить, донимать, дразнить Дормагена, ослепляя его мельканием своих финтов, оглушая неумолкающей трескотней ехидного пустословия.

Мало-помалу у Дормагена голова пошла кругом.

Внезапно Самуил воскликнул:

– Эй, господа! Скажите-ка мне, на какой глаз окривел Филипп Македонский?

А сам он все продолжал с немислимым проворством изматывать своими фокусами Отто Дормагена, чья ярость с каждой минутой росла, а ловкость уменьшалась.

– Это был, по-моему, левый глаз. Филипп, приходившийся отцом Александру Великому, а более, господа, ничем особенно не блиставший, осаждал один город... как его? Не помню. Ну, а некий лучник из этого города возьми да и напиши на одной из своих стрел: «В левый глаз Филиппу!» И, вообразите, стрела прибыла точно по адресу. Одного не понимаю: почему, черт возьми, он предпочел левый глаз правому?

В ответ Дормаген вновь сделал свой коронный выпад.

Но он плохо рассчитал: его шпага скользнула по шпаге Самуила, острие которой слегка коснулось его груди.

– Ты открылся, – укоризненно заметил Самуил.

Отто заскрежетал зубами. Было совершенно очевидно, что Самуил щадит его, играя с ним, как кошка с мышью.

Поединок другой пары между тем велся с не меньшим ожесточением. Но там силы были более или менее равны.

Риттер, парировав ложный выпад так, что клинок Юлиуса слегка отклонился вверх, нанес такой стремительный и мощный удар, что противнику не хватило времени его отразить.

Смертоносное жало впилося в правый бок...

Но случай благоволил юноше: острие уперлось в какой-то подвижный шелковистый комочек и, едва пронзив его, скользнуло вместе с ним вдоль ребер, лишь чуть-чуть оцарапав кожу.

Юлиусу же осталось только подставить свою шпагу, чтобы противник напоролся на нее сам; лезвие вошло на три пальца в бок Риттера, и тот медленно осел на ослабевших коленях и упал к ногам победителя.

Жизнь Юлиуса была спасена благодаря маленькой шелковой подушечке, висевшей у него на шее, – той самой, что хранила в себе увядший цветок шиповника.

– А, у тебя все? – хмыкнул Самуил.

Едва услышав эту короткую фразу, присутствующие тотчас поняли, что теперь и Самуил – он тоже – хочет закончить без промедления. Дормаген, сообразив это, попытался его опередить, снова пустив в ход свой знаменитый удар.

– Опять! – усмехнулся Самуил. – Э, ты повторяешься!

Тем же, что и в первый раз, молниеносным прыжком он уже успел избежать вражеского клинка, но на этот раз в то же мгновение и сам сделал неожиданный мощный выпад, выбив шпагу из руки Отто, а своей легонько ткнув противника куда-то в лоб, после чего мгновенным жестом, не лишенным, однако, некоей издевательской аккуратности, отдернул шпагу назад.

Однако острие клинка успело проникнуть на полтора дюйма в левую глазницу.

Дормаген испустил ужасный крик.

– Я тоже решил, что левый глаз предпочтительнее, – изрек Самуил. – Во время охоты отсутствие правого причиняло бы куда больше неудобства.

Свидетели столпились вокруг раненых.

У Франца было проколото насквозь левое легкое. Но хирург надеялся спасти ему жизнь. Когда же он подошел к Дормагену, Самуил, не ожидая, пока врач произнесет свое заключение, важно пояснил:

– Его жизнь вне опасности. Я хотел только лишить его глаза. Заметьте: вместо того чтобы позволить клинку, войдя в черепную коробку, проткнуть мозг, при том, что это не составило бы для меня ни малейшего труда, я вытащил его так деликатно, словно то был хирургический инструмент. По правде говоря, здесь имела место скорее операция.

Затем, обращаясь к хирургу, Самуил прибавил:

– Он ослаблен постом. Пусти-ка ему поскорее кровь, если не хочешь, чтобы он получил кровоизлияние в мозг. При правильном уходе недельки через две он уже сможет выйти на улицу прогуляться.

Но не успел хирург взяться за ланцет с намерением последовать совету Самуила, как в комнату вбежал, запыхавшись, один из зябликов.

– Ну вот! – буркнул Самуил. – Что там еще?

– Полиция! – закричал зяблик.

– Я уж ее заждался, – безмятежно проронил Самуил. – По крайней мере со стороны этих господ было любезно оказать мне честь, немного побеспокоившись за меня. Они далеко?

– В полусотне шагов.

– Так у нас еще есть время. Не волнуйтесь, господа, я их возьму на себя.

Он разорвал свой платок и перевязал рану на правой руке Юлиуса.

– А теперь быстро надень редингот.

Сам он тоже поспешил облачиться в свой.

Полицейские уже входили в сад.

Один из лисов обратился к Самуилу:

– Неужели мы не сумеем дать отпор нескольким мундирам?

– Регулярное сражение? – отозвался Самуил. – Это было бы забавно. Мы бы их славно поколотили: ты искушаешь меня, демон. Однако не следует слишком злоупотреблять кровавыми потехами, ибо мы рискуем ими пресытиться. Есть другое средство, и оно много проще.

В дверь залы громко постучали. Раздался голос:

– Именем закона!

– Откройте этим господам, – распорядился Самуил.

Дверь отворилась, и в залу вошел отряд полиции.

– Здесь только что дрались? – спросил предводитель отряда.

– Возможно, – отвечал Самуил.

– Дуэлянты сейчас отправятся с нами в тюрьму, – заявил офицер.

– Это уже не столь возможно, – возразил Самуил.

– Это еще почему? Где они?

Самуил указал на Отто и Франца:

– Да вот же они оба. Ими занимается врач. Они пырнули друг друга. Как видите, хирург им сейчас куда нужнее, чем тюремщик.

Офицеру хватило одного беглого взгляда, чтобы убедиться, что раны действительно серьезны. Скорчив гримасу, выражающую разочарование, он удалился в сопровождении своих подчиненных, не вымолвив более ни слова.

Как только они скрылись из виду, Юлиус прошел в соседнюю комнату, сел за стол, развернул свое неоконченное письмо к отцу, приписал к нему несколько строк и запечатал.

Потом он взял чистый листок бумаги и стал писать:

*«Милостивый государь и дорогой пастор,
молитва ангела и талисман феи только что дважды спасли мне жизнь. Мы невредимы, и все беды позади.*

До скорого свидания: в воскресенье я приеду, чтобы еще раз поблагодарить Вас.

*Да благословит Вас Господь.
Юлиус».*

Он тотчас отдал оба письма Дитриху, который собирался немедленно вернуться в Гейдельберг и мог успеть отнести их на почту до отправления очередного курьера.

Когда Юлиус снова вошел в залу, где только что происходила битва, раненых как раз выносили оттуда на носилках. Самуил промолвил:

– Теперь надо подумать, как убить время до обеда. Целый час! Вот скучная сторона утренних развлечений: после них не знаешь, чем бы занять себя до полудня.

«Чем бы занять себя до воскресенья?» – подумал Юлиус.

XVIII

Два различных взгляда на любовь

В воскресенье в семь утра Самуил и Юлиус выехали из Гейдельберга и дорогой, вьющейся по берегу Неккара, направились в сторону Ландека. Оба ехали верхом, приторочив к седлам охотничьи ружья. У Самуила сверх того был за спиной баул.

Трихтер, вполне оправившийся после своей победы, пешком, попыхивая трубкой, провожал их до самой городской окраины. Казалось, он был еще больше обычного горд своим благородным покровителем и восхищался им сверх всякой меры.

Он сообщил Самуилу, что накануне нанес визит обоим раненым. Они выкарабкаются – и тот и другой. Только Дормагену для полного излечения потребуются недели три, а Риттеру около месяца.

У городской заставы Самуил распрощался со своим дражайшим лисом, и приятели пустили коней рысью.

Юлиус сиял: утренняя заря, пылавшая в небесах, и любовь к Христиане, разгорающаяся в сердце, наполняли ликующим светом все его существо.

Никогда еще Самуил не казался ему таким остроумным, таким воодушевленным, таким занимательным, а временами и таким глубоким. Речь его, живая и искусная, полная неожиданных мыслей, истолкований и суждений, дополняла в глазах Юлиуса очарование природы и состояние блаженства, в котором он пребывал. То, что у Юлиуса было только волнением, обретало свое выражение в устах Самуила.

Так они достигли Неккарштейнаха.

Они говорили об Университете, о своих занятиях и развлечениях. Говорили о судьбах Германии, о ее вожаемой независимости. В груди Юлиуса билось одно из тех благородных юных сердец, что легко воспламеняются от подобных идей, и он теперь был счастлив и горд от сознания, что храбро исполнил свой долг, не побоявшись рискнуть жизнью во имя цели, священной и близкой его душе.

В конце концов Самуил и Юлиус успели поговорить обо всем на свете, кроме как о Христиане. Самуил не заговаривал о девушке, возможно, потому, что и не думал о ней, а Юлиус, должно быть, потому, что думал слишком много.

Первым, кто назвал ее имя, был Самуил.

– Да, кстати! – сказал он вдруг. – Что ты везешь?

– Я? Везу? – удивился Юлиус.

– Ну да! Разве ты не купил для Христианы какую-нибудь безделушку?

– О! Ты думаешь, она приняла бы подарок? Уж не путаешь ли ты ее с Лолоттой?

– Ба! Помнится, одна королева утверждала, что в этих делах вопросы чести зависят от суммы, потраченной дарителем. Но позаботился ли ты, по крайней мере, о том, чтобы раздобыть для папаши какую-нибудь редкую книгу по ботанике? Вот, к примеру, полюбуйся: это «*Linnei orega*»⁵, дорогое издание с гравюрами – великолепный экземпляр, я его откопал в книжной лавке Штейнбаха.

– Какой же я болван! Об отце я и не подумал, – простодушно сознался Юлиус.

– Промах в высшей степени прискорбный, – заметил Самуил. – Но я уверен, что ты не забыл хотя бы о миллом малютке, который не отходил от Христианы, да и ты сам в свою очередь – от него ни на шаг. Ты, конечно, припас для Лотарио одну из этих чудесных нюрнбергских игрушек, способных осчастливить любого юного немца от пяти до десяти лет?

⁵ «Сочинения Линнея» (лат.).

Помнишь, как мы с тобой однажды вместе любовались изумительной игрой «Охота на свинью»? Там еще была такая тонкая резьба по дереву, с массой подробностей изображающая целую деревню вместе с бургомистром, сельским учителем и жителями, причем все это было подвешено к хвосту, ушам и щетине ее свиньячьего величества – до того забавно, что даже мы, несколько староватые для таких игр, чуть не лопнули от смеха. Держу пари, что ты купил именно эту игрушку. И это с твоей стороны блистательный ход! Тут ведь двойной смысл: даришь вроде бы ребенку, но понятно же, что Христиана получит от этого уж никак не меньше удовольствия. Таким образом твоя Щедрость приобретает особую ценность, ибо сочетается с деликатностью. Порадовав Лотарио, ты вдвойне порадуешь Христиану.

– Почему ты не сказал мне всего этого раньше? – воскликнул Юлиус, злясь не столько на приятеля, сколько на себя самого.

И, резким движением рванув уздечку, он повернул своего коня в сторону Гейдельберга.

– Постой! – закричал Самуил. – Нет нужды возвращаться в Гейдельберг за книгой и «Охотой»: то и другое здесь.

– Как так?

– Редкое издание Линнея и баснословная «Охота на свинью» находятся в моем бауле, и я их предоставляю в полное твое распоряжение.

– О, как я тебе благодарен! – воскликнул Юлиус. – Ты просто чудо!

– Так вот, мой дорогой. В твоем деле с этой крошкой надобна обходительность. Ну, да я тебе помогу. А то, если бросить тебя на произвол судьбы, ты со своим характером впадешь в сентиментальную меланхолию. Тогда и за год ты не приблизишься к цели, так и будешь топтаться все на том же месте, где был в день вашей первой встречи. Но можешь не беспокоиться, ведь я рядом. И заметь, как я самоотвержен: сразу отказался от мысли с тобой соперничать. Так уж и быть, займусь Гретхен. Эта пастушка зла на меня, у нее ко мне инстинктивное отвращение, она меня почти что оскорбила. Это меня будоражит. И я свое возьму. Я не нравлюсь ей – следовательно, она мне нравится. Любопытно, кто из нас первым достигнет цели. Хочешь пари? Пришпорим наших коней – и вперед, в погоню за красотой. Вот увидишь тогда, как лихо я буду перемахивать через препятствия, которые расставляет на нашем пути так называемая совесть.

Юлиус стал серьезным.

– Самуил, – произнес он, – послушай, у меня к тебе просьба. Никогда больше не говори со мной о Христиане.

– Ах, так ты находишь, что мои уста способны замарать ее имя? Черт возьми! Ты мог бы позволить мне говорить все, что мне угодно, коль скоро я тебе не мешаю делать то, что угодно тебе. А поскольку я смею думать, что ты мчишься в Ландек не только ради приятной встречи с господином Шрайбером и Лотарио, разве так уж грешно намекнуть, что ты направляешься туда ради Христианы?..

– Если и так, что из этого следует?

– Из этого логически вытекает предположение, что ты при этом преследуешь некую цель, а поскольку нелепо было бы допустить, что ты стремишься сделать ее своей женой...

– Почему бы и нет?

– Ах-ах-ах! Как же он еще юн, этот малыш! Ты спрашиваешь, почему, невинное создание? По двум причинам. Во-первых, барон фон Гермелинфельд, весьма богатый, весьма почтенный и столь же могущественный, зная, сколько дочерей графов, князей и миллионеров были бы счастливы носить его имя, вряд ли предпочтет им всем маленькую деревенскую простушку. И потом, ты сам этого не пожелаешь. Разве ты в том возрасте, когда хочется превратиться в мужа?

– У любви нет возраста.

– Любовь и супружество, мой юный друг, – это далеко не одно и то же.

Он помолчал, а когда заговорил снова, голос его был полон страстной силы:

– Я не отрицаю любви, о нет! Ведь любовь – это власть. Стать полновластным господином другого человеческого существа, завоевать и присвоить чужую душу, овладеть чужим сердцем настолько, чтобы оно принадлежало тебе не менее, чем то, что бьется в твоей собственной груди, раздвинуть пределы своего бытия, вобрав в них бытие любящих тебя, а следовательно, безмерно зависимых и покорных созданий, – да, в этом есть красота и величие! Мне знакомо это Прометеево честолюбие, в нем самая суть любви! Но ведь задача в том, чтобы обогатить свою личность, став хозяином как можно большего числа душ, чтобы всякая новая встреча делала тебя властелином еще одной безмерно преданной рабыни. Надо подчинять себе все живое, что хоть однажды ступит на твой порог! Глупец, кто довольствуется одной женщиной: он удваивает свое могущество, хотя мог бы умножить его во сто раз! Ты скажешь, быть может, что любовь в моем понимании заставит женщин страдать? Что ж, тем хуже для них! Море не было бы морем, если бы не поглощало до капли воды всех рек и ручейков. Так и я хотел бы выпить слезы всех женщин, чтобы испытать хмель и гордыню Океана.

– Ты ошибаешься, друг, – возразил Юлиус. – Величие не в том, чтобы иметь, а в том, чтобы быть. Богаче не тот, кто больше присвоит, а тот, кто больше отдаст. Полюбив, я отдам любимой всего себя – и навек. Я не стану разменивать свое сердце на мелкую монету пятидесяти мимолетных, легкомысленных капризов, а сохраню в нем чистое золото глубокой, единой, бессмертной любви. От этого я не буду считать себя скупцом, впадающим в ничтожество из-за своей скарденности, – напротив. Ведь именно этот путь ведет от человеческой радости к небесному блаженству. Недаром же Дон Жуан со своими тысячью тремя любовницами кончил преисподней, а Данте со своей единственной Беатриче достиг рая.

– Но и недаром, – заметил Самуил, – теоретизируя на этот предмет, кончаешь тем, что достигаешь высот не истины, а поэзии, и речь идет тогда уже не о любви, а о литературе. Однако вот и наш перекресток. Давай-ка поприведем коней и снизойдем до реальности. Прежде всего, давай условимся: мы никому здесь не станем открывать своих фамилий – с них довольно имен.

– Хорошо, – сказал Юлиус. – Но я соглашаюсь на это не потому, что не доверяю ей. Скорее оттого, что не слишком-то верю в себя. Я хочу, чтобы она считала меня простым бедным студентом и чтобы уж точно знать, что ее привлекает во мне не мое громкое имя, а я сам.

– Ну конечно, дело известное: хочешь быть любимым ради себя самого! – усмехнулся Самуил. – Так и быть. Но у меня к тебе еще одно предложение, чисто дружеское, так что прими его без досады. Ты хочешь жениться на Христиане? Допустим. Но тогда по меньшей мере надо, чтобы она на это согласилась. Иными словами, главное – заставить ее влюбиться в тебя. И вот тут ты при надобности смело располагай мною – я могу быть тебе полезен как советчик и даже... даже как химик, поскольку эта наука в таком деле может быть весьма полезной.

– Довольно! Замолчи! – вскричал Юлиус с ужасом.

– Напрасно ты так возмущаешься, – невозмутимо отвечал Самуил. – Ловелас был не чета тебе, а и то ему пришлось прибегнуть к этому, чтобы заполучить Клариссу.

Юлиус посмотрел в упор на Самуила.

– Знаешь, – проговорил он, – ты, должно быть, до крайности развращен, если при мысли об этой девушке, такой благородной, тебе лезут в голову настолько чудовищные планы. Или душа у тебя совсем мертва, раз на ее дне начинают копошиться гады, когда ясный солнечный луч коснется ее? Христиана так доверчива, чиста, до того искренна и невинна! Неужели ты был бы способен злоупотребить ее добротой и простодушием? Погубить ее

было бы совсем нетрудно, тут нет надобности в твоих волшебных зельях и любовных напитках. Волшебство здесь излишне, хватило бы только ее щедрой, открытой души.

Он запнулся и, помолчав, тихо пробормотал:

– А ведь она была права, что не поверила ему... и мне советовала остерегаться.

– Ах, она говорила это? – воскликнул Самуил, вздрогнув. – Стало быть, она пыталась тебя настроить против меня? О, так она меня, чего доброго, возненавидит? Берегись! Заметь, она меня несколько не занимает, я охотно предоставляю ее тебе. Но, знаешь ли, стоит ей возненавидеть меня, и я ее полюблю. Неприязнь – это ведь препятствие, своего рода вызов, это осложняет победу, а я обожаю трудности. Влюбись она в меня, я бы и внимания на нее не обратил, но если она меня ненавидит, повторяю: берегись.

– Сам берегись! – закричал Юлиус. – Я чувствую, что ради нее мог бы пожертвовать и дружбой. Знай, что во имя счастья женщины, которую я люблю, я без сожаления отдам жизнь.

– Знай и ты, – отвечал Самуил, – что во имя несчастья женщины, которая меня возненавидит, я без сожаления убью тебя.

Увы, разговор, так весело начавшийся, принимал все более мрачный оборот. Но лошади все это время резво бежали по дороге, и как раз в ту минуту впереди показался дом пастора.

Христиана и Лотарио, ждавшие Юлиуса под липами, еще издали стали делать ему знаки, смеясь и весело жестикулируя.

О, вечное безрассудство влюбленных! В одно мгновение Юлиус забыл только что открывшееся перед ним темное, полное угроз сердце Самуила. В целом свете для него теперь существовали только свет, нежность и пленительная чистота.

XIX

Лесная отшельница

Юлиус прищипорил коня и, подскакав к ограде, устремил на Христиану взгляд, полный восторга и нежной признательности.

– Благодарю вас! – сказал он.

– Опасность миновала? – спросила Христиана.

– Вполне. Это ваша молитва спасла нас. Господь не мог отказать нам в защите, ведь о милости для нас его просили вы.

Он спрыгнул с лошади. Тут и Самуил в свою очередь приблизился; на его приветствие Христиана ответила учтиво, но холодно. Позвав мальчика-слугу, она велела ему отвести лошадей в конюшню, а баулы отнести в дом.

Потом они вошли в комнаты.

Гретхен была там – слегка смущенная, неловкая; казалось, эта дикарка надела праздничное платье впервые в жизни. Она явно боялась наступить на край своего одеяния, непривычно длинного, а тесные чулки заметно стесняли движения ее резвых ног, к тому же ступавших с видимым трудом: она не умела ходить в туфельках.

Самуила она встретила враждебным взглядом, Юлиусу улыбнулась, но грустно, словно бы через силу.

– А где же господин Шрайбер? – поинтересовался Самуил.

– Отец скоро придет, – отвечала Христиана. – Когда мы выходили из церкви, один деревенский парень отвел его в сторонку, чтобы поговорить о... словом, о важном деле. Это касается кое-кого, кто очень небезразличен и отцу и мне.

Тут она с улыбкой глянула на Гретхен, удивленную и, по-видимому, понятия не имеющую, о чем идет речь.

В это самое мгновение на пороге появился пастор. Он вошел торопливо, веселый и приветливый, обрадованный так, будто полужнакомые гости были его старинными друзьями.

Все только его и ждали, чтобы приняться за обед. Эта вторая по счету общая трапеза вышла куда более оживленной и сердечной, чем первая. По доброму старонемецкому обычаю, для Гретхен также нашлось место за столом.

Самуил, теперь совсем другими глазами смотревший на ясное невинное личико Христианы, захотел понравиться ей: он вдруг стал очень обходительным и очаровательно остроумным. Он красочно описал дуэль, разумеется, оставив в стороне ее истинные причины и фальшивые предлоги: ни Гейдельбергский замок, ни окошко Лолотты не фигурировали в его рассказе. Тем не менее ему удалось и рассмешить и напугать Христиану – на первый случай пригодилась сцена, в голубом кабинете, для второго как нельзя лучше подошло побоище на Кайзерштуле.

– Боже милостивый! – сказала она Юлиусу. – Ведь если бы вам в противники достался этот Дормаген...

– Я сейчас был бы покойником, и уж наверняка! – смеясь, отвечал тот.

– Что за варварский и преступный предрассудок эти дуэли, которыми забавляются наши студенты! – вскричал пастор. – Право же, господа, я утверждаю это не только как священник, но и просто как мужчина. Я почти готов поздравить вас, господин Юлиус, именно с тем, что в этой смертельной игре вы не столь искусны.

– Стало быть, – произнесла Христиана, сама не понимая, почему ей пришел на ум подобный вопрос, – господин Самуил владеет шпагой лучше, чем вы, господин Юлиус?

– Это трудно отрицать, – признался Юлиус.

– К счастью, – вставил Самуил, – дуэль немыслима между товарищами, питающими друг к другу столь братские чувства.

– Но если бы была, – сказал Юлиус, – это была бы дуэль не на жизнь, а на смерть, из тех, после которых выживает лишь один из двоих. В подобных обстоятельствах всегда можно уравнивать шансы.

– А, ты рассчитываешь на случай! – усмехнулся Самуил. – Ну, когда имеешь дело со мной, это бесполезно. Уж не знаю почему, возможно, в награду за то, что я ни разу в жизни не снисходил до игры на деньги, но если только я испытываю судьбу, она всегда очень милостива ко мне. Так что остерегись! А вино у вас, господин Шрайбер, просто великолепно – ведь это либерффраумильх, не правда ли?

Какое впечатление или, быть может, предчувствие было тому причиной, мы не знаем, но когда прозвучали спокойные, мрачные слова Самуила, Христиана побледнела, не в силах сдержать невольную дрожь. И вполне вероятно, что он это заметил.

– Разговор у нас какой-то невеселый, – сказал он. – Ты бы, Юлиус, сходил наверх поискать чего-нибудь позабавнее.

Юлиус понял намек, мгновенно исчез, но вскоре вернулся с «Охотой на свинью», которую тут же преподнес Лотарио, и Линнеем, вручив книгу пастору.

Восторгу Лотарио не было границ. На лице малыша отразилось безмерное восхищение, и он замер в неподвижности, сраженный видом подобного чуда. Увы! Даря ребенку мгновения столь полного счастья, жизнь, похоже, думает, что тем самым она уже достаточно рассчиталась с человеком за все, что предвещает ему грядущее...

Впрочем, пастор был счастлив почти так же, как его внук, ибо в душе остался почти таким же ребенком. Он рассыпался в благодарностях и ласково ворчал на Юлиуса, что он непременно разорится, ведь для кошелька студента подобные траты непосильны.

Юлиусу было неловко принимать таким образом вознаграждение за те знаки внимания, которые на самом деле исходили от другого, хоть тот и действовал не в своих, а в его интересах. Он совсем было собрался восстановить Самуила в его законных правах, но, поймав благодарный взгляд Христианы, почувствовал, что уступить эту награду Самуилу просто выше его сил.

Итак, он присвоил взгляд, а с ним и все остальное.

После обеда пошли в сад пить кофе. Гретхен, ни на минуту не переставая подозрительно коситься на Самуила, пристроилась за стулом Христианы.

– Послушай, Гретхен, – сказал пастор, наливая в блюдечко обжигающий кофе, – мне надо с тобой поговорить.

– Со мной, господин пастор?

– Именно с тобой, притом о серьезных вещах. Тебе смешно? А ведь ты уже не дитя, Гретхен. Ты не забыла, что скоро тебе сравняется восемнадцать?

– И что это означает, господин пастор?

– Восемнадцать лет – такой возраст, когда девушке уже пора подумать о будущем. Не хочешь же ты провести всю жизнь среди коз?

– А среди кого, по-вашему, я должна ее провести?

– Я знаю одного честного малого, который хочет стать твоим мужем.

Все еще смеясь, Гретхен замотала головой:

– Вот еще! Да кому это в голову взбредет такое – взять меня в жены?

– Однако в этом нет ничего столь уж невероятного, дитя мое. Если бы такая возможность представилась, что бы ты сказала?

Лицо пастушки стало серьезным:

– Так вы это не в шутку?

– Я же сказал, что у меня к тебе важный разговор.

– Тогда, – медленно произнесла Гретхен, – если вы со мной говорили всерьез, я вам так же отвечу. Стало быть, вот: если бы мне кто предложил пойти за него, я бы отказалась.

– И почему же?

– Почему, господин пастор? Ну, прежде всего, потому, что моя матушка, когда вы ее обратили в истинную веру, посвятила меня Деве Марии.

– Это произошло наперекор моему желанию и самой нашей религии, Гретхен. Кроме того, это ведь она, а не ты дала такой обет, он тебя ни к чему не обязывает, так что если нет иных препятствий...

– Они есть, господин пастор. Дело в том, что я хочу ни от чего не зависеть – ни от чего и ни от кого. И в том еще, что я привыкла не иметь ни крыши над своей головой, ни чужой воли над моей волей. Выйти замуж – это значило бы покинуть моих коз, мои травы, мой лес, мои скалы. Пришлось бы жить в деревне, ходить по улицам, жить в доме. Хватит и того, что зимой порой я мучаюсь в четырех стенах, а по воскресеньям задыхаюсь в этом платье. Ах! Если бы вам когда-нибудь довелось, как мне, проводить летние ночи на свежем воздухе, под звездами, на постели из мха и цветов, которую каждый день перестилает для меня сам Господь Бог! Вы сами подумайте, ведь, к примеру, отшельники: они же могут на всю жизнь затвориться в монастырях и кельях, а вот у меня вместо монастыря мой лес. Я буду лесной отшельницей, посвящу себя уединению и Деве Марии. Не хочу я принадлежать мужчине! Сейчас я иду куда хочу, делаю все, чего душа желает. А если выйду замуж, стану делать то, чего пожелает муж. Вы, наверно, думаете, будто это с моей стороны гордыня. А мне противно жить как в миру живут. Этот мир портит и грязнит все, чего ни коснется. Может, я потому это поняла, что столько раз видела, как мои бедные цветы умирали, когда кто-нибудь вырывал их из земли или просто топтал, проходя мимо. Нет, я никому не позволю коснуться меня. Мне кажется, что я тоже могла бы от этого умереть. Видите ли, господин пастор, моя матушка дала тот обет вовсе не из себялюбия, а ради материнской любви ко мне. Она думала не о своих грехах, которые я должна искупить, а о своих страданиях, какие я смогу избежать. Любовь мужчины унижительна и жестока. Молодые лошади, не знающие узды, бросаются бежать, когда человек пытается подойти к ним. Вот и я похожа на такую дикую лошадь: не хочу, чтобы меня взнуздали.

Произнося эти слова, девушка преобразилась: столько гордости и решимости, столько дикарской независимости и непреклонного целомудрия было сейчас в облике Гретхен, что Самуил оторвал свои горящие глаза от Христианы и устремил жадный взор на нее. Эта необузданная и чарующая девственность его пленила.

Пристально глядя на нее, он произнес:

– Ба! Недурно. А если бы вместо какого-то мужлана представилась партия получше? Скажем, к примеру, если бы я сам попросил твоей руки?

– Вы? – повторила она с запинкой, словно охваченная сомнением.

– Да, я. Знаешь ли ты, что я на это способен?

В это мгновение ему даже казалось, что он говорит правду.

Помолчав, она твердо отвечала:

– Если бы это предложили вы, я бы тем более не согласилась. Я сказала, что ненавижу деревни, но это не значит, что я люблю города! Я сказала, что сама мысль о мужских посягательствах меня отталкивает, и это не значит, что ваши посягательства должны меня соблазнить.

– Ну, спасибо за любезность! Я ее запомню, – произнес Самуил, смеясь, и этот смех был полон угрозы.

– Ты подумай еще, Гретхен, – поспешил вмешаться пастор. – Вспомни, что для каждого человека наступает время, когда уже нет сил карабкаться на скалы и прыгать через овраги. Впрочем, когда ты узнаешь имя того славного парня, который любит тебя и хочет сделать

своей женой, ты, возможно, изменишь решение. Твоя подруга Христиана еще поговорит с тобой об этом.

На том разговор и кончился. Но не прошло и трех минут, как Гретхен, которой стало как-то не по себе и не хотелось оставаться там, где с ней вздумали заговорить о замужестве, исчезла, не сказав никому более ни слова. Пастор снова принялся листать своего Линнея. Лотарио же, едва встал из-за стола, занялся новой игрушкой и, забыв весь свет, то и дело принимался хохотать.

Христиана осталась с Юлиусом и Самуилом – ей одной предстояло исполнять долг гостеприимства за всех.

XX

Адская Бездна

Кто мог бы угадать, какие мысли клубились на дне глубокой, мрачной души Самуила Гельба? Увидев, что пастор и мальчик всецело поглощены подарками, полученными от Юлиуса, он стал расточать перед Христианой самые душевные похвалы своему другу. Послушать его, так Юлиус был в избытке наделен всеми мыслимыми достоинствами – сердечной нежностью, преданностью, постоянством, и притом за его мягкостью, если потребуется, обнаруживаются сила характера и надежность. Те, кого он любит, всегда могут смело положиться на него. В драке он просто бесподобен... и так далее.

Эти восторги, излишне назойливые, смущали Христиану. Девушка испытывала мучительную безотчетную тревогу, слыша подобные похвалы из уст Самуила. Безусловно веря в правдивость его слов, она вместе с тем чувствовала, что за ними кроется злая насмешка. Самуил не говорил о своем друге ничего, кроме хорошего, но ей было бы легче, если бы этот человек отзывался о нем дурно.

Что касается самого Юлиуса, то он не слушал болтовни приятеля. Вначале немного посмеявшись над его преувеличенными похвалами и объявив их сомнительными, он впал в рассеянность и позволил своим мыслям блуждать где попало. Они тотчас унеслись вдаль, в чудный первый вечер, когда Христиана говорила с ним наедине, и ему стало горько оттого, что та радость миновала.

Христиана сжалась над ним:

– Отец! – окликнула она пастора. – Я обещала этим господам, что мы покажем им развалины Эбербаха и Адскую Бездну. Может быть, нам отправиться туда сейчас?

– Охотно, – отвечал пастор, с явным сожалением закрывая книгу.

Но Лотарио ни под каким видом не желал уходить. Он просил Гретхен передать кое-кому из его деревенских друзей-мальчишек о своем желании сообщить им нечто очень важное, и был полон решимости дожждаться их прихода, чтобы удивить своей «Охотой».

Пришлось идти без него. Выбрали очаровательную тропинку, ведущую прямо к Адской Бездне. Это было самое отдаленное место из тех, что они задумали посетить, потому и решили начать именно с него. Пастор, все еще пребывавший под обаянием редкой книги и объятый азартом естествоиспытателя, вцепился в Самуила и затевал с ним ученые дискуссии по поводу каждого растения, попадавшего им по дороге. Таким образом он как бы продолжал упиваться своим Линнеем, хоть и на новый лад.

Юлиус наконец остался с глазу на глаз с Христианой.

Как он жаждал такого случая! И вот теперь, получив его, вдруг смешался, не зная, как воспользоваться этой счастливой возможностью. Он не находил слов и молчал, не смея высказать то единственное, что ему хотелось сказать ей.

Христиана заметила растерянность Юлиуса, и потому сама еще больше сконфузилась.

Так они и шли рядом, онемевшие, смущенные и счастливые. Ну и что, если они молчали? Разве птицы в небе, солнечные лучи в древесных кронах и цветы в траве не говорили для них – и за них! – все то, что они могли бы сказать друг другу?

Но вот они дошли до Адской Бездны.

Заметив их приближение, Самуил вдруг склонился над краем пропасти, придерживаясь рукой за повисший в пустоте древесный корень, и стал смотреть вниз.

– Черт возьми! – сказал он. – Эта яма носит свое имя с честью. Да поглотит меня преисподняя, если я вижу дно! По-моему, она его просто не имеет. Днем это заметно еще лучше, чем ночью. Тогда, не разглядев дна, еще можно было думать, что всему виной тьма. А теперь уж яснее ясного, что ничего не видно. Да подойди же, Юлиус, полюбуйся.

Юлиус приблизился к краю расщелины. Кровь отхлынула от щек Христианы.

– А знаешь, – заметил Самуил, – это ведь удобнеее местечко, если кому-нибудь потребовалось бы избавиться от человека, ставшего ему поперек дороги. Хватило бы легкого толчка, скажем, локтем, и весьма сомнительно, что после этого приятель когда-нибудь выберется наружу или кому-либо придет охота спуститься туда, чтобы его там поискать.

– Отойдите! – вдруг с ужасом вскрикнула Христиана; схватив Юлиуса за руку, она что было сил стала тянуть его прочь от края.

Самуил расхохотался:

– Уж не боитесь ли вы, что я подтолкну Юлиуса локтем?

– О, что вы!.. Но ведь достаточно одного неверного движения... – пролепетала Христиана, отчаянно смущенная своей выходкой.

– Адская Бездна в самом деле опасна, – заметил пастор. – Легенды, связанные с нею, полны тайн, но у нее есть и своя подлинная история, полная катастроф. Еще и двух лет не прошло с тех пор, как в нее сорвался один здешний фермер... или, кто знает, может, сам бросился, несчастный! Попытались было достать его тело, но смельчаки, попробовавшие спуститься на дно по веревкам, насилу успели крикнуть своим товарищам, чтобы те их вытащили обратно: там, в бездне, на некоторой глубине скопились удушающие испарения; они неотвратимо приводят к удушью и гибели.

– Какая славная бездонная пропасть! – сказал Самуил. – При солнечном свете она нравится мне едва ли не больше, чем в темноте, а уж что не меньше, это точно. И взгляните, дикие цветы растут по ее краям, как ни в чем не бывало. Под их мирной зеленью таится смерть. Это место очаровательно настолько же, насколько опасно. Оно пленительно и головокружительно! Той ночью я сказал, что влюбился в него. Сейчас, при полуденном солнце, я нахожу, что оно похоже на меня.

– О да! Это правда! – невольно вырвалось у пораженной Христианы.

– Поберегитесь и вы, фрейлейн, ведь вам тоже недолго упасть, – с любезным видом заметил Самуил, деликатно отстраняя ее от страшного провала.

– Уйдемте отсюда! – не выдержала Христиана. – Можете смеяться надо мной, но в этом зловещем месте мне всегда становится жутко. У меня тут сердце сжимается и в голове какой-то туман. Наверное, случись мне увидеть собственную отверстую могилу, и то не было бы так страшно. Здесь пахнет бедой. Пойдемте лучше посмотрим на руины.

Все четверо в молчании направились к старому замку и несколько минут спустя оказались среди развалин, что некогда были Эбербахской твердыней. При свете дня эти руины, щедро увитые свежей зеленью, представились взору настолько же милыми и живописными, насколько пугающе угрюмыми они громоздились в ночном мраке. Множество пышных цветущих побегов, переплетаясь, проникая в каждую трещину, оживляли эти развалины и насыщали их благоуханием. Плющ и дикий виноград гибкими лианами сшивали каждую щель, как бы соединяя надежду с этим прошлым, юность с этой древностью, жизнь с этой смертью.

Ветви кустов и деревьев были усеяны птичьими гнездами. А там, где лошадь Самуила в ту грозную ночь так ужасно зависла над обрывом, сквозь пролом в стене сверкали озаренные солнцем струи Неккара, широко, насколько хватал глаз, катившего свои воды по плодородной долине.

Это зрелище, величавое и ласкающее душу, настроило Юлиуса на мечтательный лад. Самуил же повлек пастора к воротам, украшенным обветшавшими гербами, и попросил рассказать историю старинного рода графов фон Эбербах.

– О чем вы задумались? – спросила Христиана, поднимая глаза на Юлиуса.

Молодой человек, несколько осмелевший после того, как он увидел то непроизвольное движение, каким девушка пыталась оттащить его подальше от пропасти, отвечал:

– Ах, Христиана! Вы спрашиваете, о чем я думаю? Я вспомнил, как вы только что сказали там, у бездны: «Здесь пахнет бедой». А мне, когда мы вступили в эти разрушенные стены, подумалось: «Здесь пахнет счастьем». О, вообразите, Христиана, ведь когда-нибудь придет тот, кто восстановит этот замок во всем его былом величии и красоте. Он поселится здесь, вверив свое будущее надежной охране этих древних стен, возвратив им утраченную радость и величие, и станет жить уединенно, но имея над головой это небо, перед глазами – этот дивный ландшафт, а рядом любимую жену, чистую, юную сердцем и годами, сотканную из росы и солнечных лучей! О Христиана, выслушайте меня...

Сама не зная отчего, Христиана была растрогана до глубины души. У нее даже слезы выступили на глазах, хотя никогда в жизни она не чувствовала себя такой счастливой.

– Выслушайте меня, – повторил Юлиус. – Я обязан вам жизнью. Это не пустая фраза, а истина, в которой я твердо убежден. Мое сердце подвержено суевериям. В той дуэли было мгновение, когда я почувствовал, как острие шпаги противника коснулось моей груди. Мне показалось, что это конец. И тут я подумал о вас, ваше имя прозвучало в моей душе – и шпага прошла мимо, лишь слегка меня оцарапав. Я уверен, что в ту самую минуту вы молились за меня.

– В котором часу это было? – спросила Христиана.

– В одиннадцать.

– О! Я и правда тогда как раз молилась! – ребячески-простодушно вскричала она, весело дивясь такому совпадению.

– Я знал это. Но и это еще не все. Дуэль продолжалась, и клинок врага задел меня вторично. Удар был бы смертельным, если бы клинок не соскользнул, наткнувшись на шелковую подушечку, висевшую у меня на груди. Угадайте, что в ней было? Засушенный цветок шиповника, тот самый, что подарили мне вы.

– Ах! – тихонько вскрикнула Христиана. – И это все правда? О! Пресвятая Дева, спасибо тебе!

– Так вот, Христиана, – продолжал Юлиус, – коль скоро вы взяли на себя труд заступиться за меня перед Господом и ваша молитва была услышана, это, быть может, значит, что моя жизнь должна вам для чего-нибудь пригодиться. Ах! Если бы вы только пожелали!..

Девушка, вся трепеща, не могла произнести ни звука.

– Одно слово! – молил Юлиус, нежно и пламенно пожирая ее глазами. – Ну, пусть не слово, но какой-нибудь знак, жест, чтобы я мог надеяться, что мое признание не оскорбило вас, что вам не противна моя мечта поселиться нам вдвоем на лоне этой дивной природы, вместе с вашим отцом...

– Как? Без Самуила? – раздался у них за спиной резкий насмешливый голос.

То был Самуил: он оставил пастора и, подходя к ним, услышал последнюю фразу Юлиуса.

Христиана покраснела. Юлиус обернулся, возмущенный приятелем, так неловко и бесцеремонно разрушившим его сладкую грезу.

Но в то мгновение, когда он готов был сказать Самуилу что-нибудь весьма резкое, появился пастор, решивший, что пора наконец гостям и хозяевам снова собраться вместе. Самуил, склонившись к Юлиусу, прошептал ему на ухо:

– Что, разве было бы лучше, если бы я позволил ее папаше застать тебя врасплох?

Тронулись в обратный путь.

На этот раз все четверо шли вместе. Христиана избегала Юлиуса, он тоже больше не пытался остаться с ней наедине. Он боялся услышать ее ответ: боялся и жаждал.

По дороге им встретились пять или шесть коз. При виде гуляющих пугливые животные разбежались.

– Да это же козы Гретхен! – сказала Христиана. – Наверняка она и сама где-то неподалеку.

Скоро они и в самом деле заметили Гретхен. Пастушка сидела на вершине холма. В простом сельском наряде она вновь обрела присущую ей дикую грацию и непринужденную свободу движений.

Пастор подозвал Христиану и что-то тихонько сказал ей. Девушка понимающе кивнула и тотчас стала взбираться на холм. Юлиус и Самуил одновременно бросились к ней, спеша предложить ей руку, поддержать.

– Да нет же, – смеясь, остановила их она, – благодарю, не надо! Мне нужно поговорить с Гретхен наедине. И потом, я ведь уроженка гор, я привыкла и вполне обойдусь без вашей помощи, господа.

Дальше она поднималась на холм уже одна, легко и ловко, и почти тотчас оказалась рядом с пастушкой.

Гретхен была печальна, в глазах у нее стояли слезы.

– Да что это с тобой? – удивилась Христиана.

– Ох, фрейлейн, вы ведь знаете мою белую лань, ту, сиротку, что я нашла в лесу и выхаживала словно родную дочку. Когда я вернулась, ее здесь уже не было. Она потерялась!

Христиана попробовала утешить ее:

– Полно, успокойся! Она сама вернется в овчарню. Ты лучше меня послушай. Мне надо с тобой поговорить. Но это разговор долгий. Завтра утром, между шестью и семью часами, жди меня, я приду.

– Я тоже должна поговорить с вами, – отвечала Гретхен. – Вот уже третий день травы говорят со мной о вас. Они сказали много всякого.

– Хорошо. Так куда ты завтра погонишь своих коз?

– К Адской Бездне. Хотите?

– Нет, нет, лучше к развалинам!

– Я буду там, фрейлейн.

– Итак, завтра утром, в шесть, у руин. До завтра, Гретхен.

Христиана повернулась, чтобы уйти, и с изумлением увидела, что за ее спиной стоял Самуил. Он только что поднялся сюда, в несколько прыжков одолев холм.

– Я хотел бы предложить вам опереться на мою руку хотя бы при спуске, – сказал он.

Она так и не поняла, слышал ли он их разговор.

XXI

Вещие цветы

На следующее утро около половины шестого Самуил, уже одетый и с ружьем на плече, явился в спальню Юлиуса.

– Эх ты, неисправимый соня! – сказал он. – Значит, не хочешь пойти со мной на охоту?

– Так ты собрался поохотиться? – пробормотал Юлиус, протирая глаза.

– Поохотиться на все виды дичи! Иначе для чего было тащить с собой ружья? Э, да ты снова засыпаешь? Впрочем, так и быть. Если все-таки решишься встать, отправишься вдогонку за мной.

– Нет, – сказал Юлиус. – Сегодня утром я никуда пойти не смогу.

– Ах, так! И почему же?

– Буду писать письмо отцу.

– Опять! Какой щедрый на письма сын!

– Не вижу ничего смешного! Я должен сообщить ему одну очень важную весть.

– Ну, как угодно, – ответил Самуил, у которого были свои причины не настаивать. – Значит, до скорого свидания.

– Желаю удачи!

– Благодарю за пожелание... и за предсказание.

Самуил ушел, и Юлиус встал.

Однако, хотя Самуил поднялся с постели очень рано, Христиана оказалась еще более ранней пташкой. В час, когда студент-скептик, движимый довольно-таки сомнительными намерениями, насвистывая, шагал по высокой траве, отягощенной жемчужными гирляндами росы, милая девушка, в своем нетерпении совершить доброе дело еще более проворная, уже достигла развалин Эбербаха, где ее ожидала Гретхен. Там она представила юной пастушке славного парня, хлебопашца из Ландека, того самого, что хотел взять ее в жены. Это был честный, трудолюбивый малый по имени Готлиб, уже год назад без памяти влюбившийся в красавицу-пастушку. Он обожал ее издали, не смея и заикнуться о своих чувствах. Зато Христиана нашла самые нежные и самые убедительные слова, пытаясь склонить Гретхен благосклоннее взглянуть на парня.

Но Гретхен была тверда: решительно, хоть и печально она отвергала все уговоры.

– Стало быть, я вам, Гретхен, совсем не нравлюсь? – спрашивал бедный Готлиб, и сердце его рвалось на части. – Вы меня гоните прочь, потому, что я вам противен?

– Нет, Готлиб, я вам благодарна, – отвечала Гретхен, – и пусть Бог благословит вас. Вы очень добрый, если решились выбрать себе в жены такую, как я, козью пастушку без единого пфеннига в кармане, дочь цыганки, не имеющую ни дома, ни родни. Только, понимаете ли, Готлиб, когда у травы нет корней, то и цветов не жди. Мое одиночество, моя дикая жизнь – это по мне, так что лучше вам оставить меня.

– Послушай, Гретхен, милая, – опять заговорила Христиана, – мой отец говорит: кто идет против природы, гневит Господа. Может статься, ты еще будешь наказана за это и придет день, когда ты горько пожалеешь, что преступила закон, общий для всех живущих.

– Дорогая моя фрейлейн, вы и ваш отец сродни цветам: вы похожи на них добротой и прелестью, в нем – их мудрость и безмятежность. Но моя-то природа другая, и я как раз следую ей, потому и не могу отказаться от моей свободы – жить под открытым небом среди лесных чащ. Попробуйте пересадить к себе в сад этот дикий боярышник – и он умрет.

– Нет уж, вы лучше прямо скажите, что ненавидите меня, Гретхен! – вскричал Готлиб. – Уйдемте отсюда, фрейлейн Христиана! Оставьте ее, это ж видно, что я ей ненавистен!

– Погодите, Готлиб, – остановила его Гретхен. – Послушайте, не держите на меня зла. Готлиб, если когда-нибудь мне захочется жить в четырех стенах под властью мужа, я выберу ваш кров и вашу власть, потому что вы добрый, надежный и дело свое делаете со спокойным сердцем, не щадя сил, как то пристало хорошему человеку. Вам понятно, что я говорю? И еще знайте, Готлиб, что если Гретхен суждено переменить свои намерения, а вы к тому времени не перемените своих, то, кроме вас, она никого не возьмет в мужья: в этом Гретхен клянется перед Богом. Вот и все, Готлиб, что я могу вам сказать. А теперь дайте мне руку и простимся. Вспоминайте меня без горечи, а я буду думать о вас с сестринской любовью.

Бедный Готлиб хотел было что-то сказать, но не смог вымолвить ни слова. У него едва хватило мужества пожать руку, протянутую Гретхен, отвесить Христиане почтительный поклон и удалиться нетвердым шагом, спотыкаясь об обломки стен.

Когда он ушел, Христиана попыталась возобновить свои уговоры, но пастушка с такой горячностью просила оставить это, что она решила больше не мучить ее своей настойчивостью.

– Поговорим о вас, милая барышня, – сказала Гретхен. – Это куда лучше. В вас нет моего злого безрассудства, вы, слава Богу, можете быть любимой, вы заслуживаете счастья.

– Еще успеем наговориться, – засмеялась Христиана. – А как твоя пропавшая лань?

– Она так и не вернулась, – печально ответила Гретхен. – Я ночью глаз не сомкнула, искала и звала ее, да все напрасно. Она не впервые сбежала, неблагодарная, и я все надеюсь... Но еще ни разу она не скрывалась в лесу так надолго!

– Найдется, не тревожься.

– Да надежды почти не осталось. Понимаете, она же дикий зверь, совсем не то что мои козлята. Они вмиг приручаются, а ей трудно привыкнуть к лицам людей, их хижинам. Свобода у нее в крови. Она на меня похожа, за это я ее и люблю, вот ведь что...

Гретхен не договорила: она внезапно вздрогнула, вскочила на ноги и испуганно замерла.

– Да что с тобой? – воскликнула Христиана.

– Вы разве не слышали?

– А что такое?

– Выстрел.

– Не слышала.

– Правда?.. Зато я хорошо слышала. И так, будто это в меня стреляли. Что, если охотник убил мою лань?..

– Полно, не сходи с ума! Ну же, успокойся. Ты ведь хотела сказать что-то насчет меня. Так давай уж лучше обо мне и поговорим.

Забота о Христиане оказалась самым верным, если не единственным средством, способным заставить Гретхен забыть о своих тревогах. Она вновь опустилась на траву и, подняв на Христиану взгляд, полный нежности, произнесла:

– О да, поговорим о вас! Мои цветы целыми днями шепчут мне об этом.

– Послушай, – перебила ее Христиана в легком замешательстве, – что, ты в самом деле веришь, будто цветы могут предсказывать будущее?

– Еще бы мне в это не верить! – воскликнула Гретхен. Ее глаза блеснули, странное воодушевление озарило черты. – Не то что верю, я это просто знаю. И какой смысл цветам лгать? На этой земле нет никого искреннее. Язык цветов – это древняя наука. Она пришла сюда с Востока, из глубины веков, а зародилась еще тогда, когда люди были так чисты и простодушны, что Господь снисходил до того, чтобы говорить с ними. Моя мать владела этой наукой, она читала по травам, как по открытой книге. Она научилась этому от своей матери, а я – от нее. Вы не верите цветам? Но вот вам доказательство: они мне предсказали, что вы полюбите господина Юлиуса.

– Они ошиблись! – с живостью возразила Христиана.

– Вы так считаете? А вот еще доказательство, и уж оно не обманывает: они сказали, что господин Юлиус вас любит.

– В самом деле? – пробормотала Христиана. – Что ж, я... мне бы хотелось верить. А давай спросим их вместе!

– Вот, смотрите, я для вас притащила целую копну, – сказала она, указывая на изрядный ворох цветов, лежавший у ее ног, распространяя горьковато-сладкий аромат. – О чем вы хотели бы их расспросить?

– В тот раз ты говорила, что цветы предрекают беду, которую должны принести мне те два молодых человека. Можно узнать, что, собственно, они имели в виду?

– Именно об этих двоих я и собиралась потолковать с вами.

– И что же?

– Смотрите. Все эти растения сорваны сегодня рано утром, еще до восхода солнца. Мы можем их расспросить. Только я заранее знаю, что они ответят. За последние дни я уже тринадцать раз их переспрашивала, а ответ все тот же.

– Какой?

– Сами увидите.

Она встала, подняла с земли охапку свежей цветущей зелени и принялась раскладывать травы на плоской, как стол, замшелой гранитной глыбе, располагая их в некоем таинственном порядке, сообразуясь с формой растений и принимая во внимание час, когда они были сорваны.

Покончив с этим, она устремила на лежащие перед ней травы бездонный глубокий взгляд и, все более погружаясь в состояние восторженного созерцания, похоже, стала уже забывать даже о присутствии Христианы. Вдруг она заговорила. Ее голос был протяжен и почти торжествен:

– Да, травы говорят все, если умеешь их понимать. У людей есть книги, они там записывают свои мысли с помощью букв. Божья книга – это природа, и мысли Господа запечатлены там с помощью растений. Надо лишь уметь читать. Как я. Мать научила меня разбирать письма цветов.

Лицо ее омрачилось.

– Ну вот! Опять те же слова! – прошептала она. – Тот, кто вечно приходит, когда его не ждут, – человек беды. Великой беды... Зачем только я привела его в дом? А что же другой? Будет ли его появление менее гибельным? Милая, бедная девочка, выходит, она уже успела полюбить его!

– Да нет же! – сердито перебила ее Христиана. – У тебя глупые, злые цветы!

– И он, – продолжала Гретхен, не замечая, что ее прервали, – ах, как он любит Христиану!

– Который из цветов говорит это? – с живостью спросила Христиана. – Вон та мальва? Какая хорошенькая!

Гретхен продолжала, не выходя из своего таинственного состояния:

– Они молоды. Они любят друг друга. И они добры. Вот три причины, из-за которых им суждено стать несчастными. Да, все тот же ответ. Но вот здесь... да, это что-то новое!

– Что же? – поторопила ее Христиана с невольным беспокойством.

– Такого у меня до сих пор еще ни разу не получалось. Вот здесь видно, что они соединяются, но их союз внезапно расторгнут, почти тотчас же. И вот что странно, эта разлука не означает смерти, а между тем они продолжают любить друг друга. Долгие годы одиночества, они вдали друг от друга, разлучены и живут будто чужие. Что бы это могло значить?

Охваченная тревогой, девушка склонилась над цветами. Но тут какая-то тень, заслонив солнце и скользнув по поверхности каменного стола, легла на разложенные травы.

Христиана и Гретхен, вздрогнув, оглянулись.

Перед ними стоял Самуил.

При виде Христианы он изобразил крайнее изумление.

– Простите, что помешал, – произнес он. – Я пришел просить у Гретхен оказать мне услугу. Она ведь знает в этом лесу каждый кустик, а я только что подстрелил дичь вон в той чаще.

Гретхен содрогнулась, а Самуил продолжал:

– Притом я уверен, что рана очень серьезна. Я подарю Гретхен один фридрихсдор, если она поможет мне найти место, куда моя дичь спряталась, чтобы умереть. Она исчезла неподалеку от Адской Бездны.

– Это была лань? – дрожа, спросила Гретхен.

– Да. Белая с серыми пятнами.

– Я же вам говорила! – закричала Гретхен, обращаясь к Христиане.

И она умчалась как стрела.

Озадаченный столь внезапным исчезновением девушки, Самуил посмотрел ей вслед, заметив про себя:

«Черт возьми, мне везет даже больше, чем я рассчитывал! Вот мы и наедине с Христианой».

XXII

Три раны

Христиана хотела было последовать за Гретхен, но Самуил сказал ей:

– Прошу прощения, фрейлейн, что я вас задерживаю, но мне необходимо поговорить с вами.

– Со мной? – спросила Христиана отчужденно.

– С вами, – повторил он. – Позвольте задать вам без предисловий и околичностей один вопрос, который меня занимает со вчерашнего дня. Вы ненавидите меня, не так ли?

Христиана покраснела.

– Ответьте просто и открыто, – продолжал он, – не бойтесь меня оскорбить. Мне нравится, когда меня ненавидят. А почему, я вам сейчас же готов объяснить.

– Сударь, – отвечала Христиана взволнованным голосом, с трудом подбирая нужные слова, – вы гость моего отца и до сих пор не сказали и не сделали ничего такого, что могло бы стать причиной моей враждебности к вам. К тому же, как христианка, я стараюсь ни к кому не питать зла.

Пока девушка, робко потупив взор, говорила все это, Самуил не сводил с нее своих жгучих, пронзительных глаз. Когда она умолкла, он сказал:

– Я не слушал ваших слов, я смотрел на ваше лицо. Оно было искреннее вашего ответа. Вы определенно настроены против меня; не знаю, можно ли тут говорить о ненависти в полном смысле слова, но это явная неприязнь. Ну же, не отрицайте! Я вам повторяю, что это меня нисколько не обижает. Скорее подзадоривает.

– Однако, сударь!..

– Я предпочитаю ненависть равнодушию, гнев – забвению, борьбу – небытию. Видите ли, вы очень хороши, а для мужчины моего склада женская красота сама по себе уже в некотором роде вызов. Есть в ней нечто такое, что влечет и будоражит сердца, которым ведома тщеславная жажда победы. Мне еще не приходилось встречать красотку старше шестнадцати лет, не испытав при этом пьянящего искушения заполучить ее. Вот только времени у меня маловато, так что по большей части я подавляю этот соблазн. Но на сей раз искушение вдвойне привлекательно. Вы оказываете мне честь, почтив меня своей ненавистью. Ваша красота и ваше отвращение – это уже двойной вызов. Вы объявляете мне войну. Что ж, я принимаю бой!

– Но из чего вы заключаете, что я...

– О, все говорит об этом! Ваше лицо, ваше поведение, слова, что у вас вырвались на краю Адской Бездны. И это еще не все. Разве вы уже не пытались повредить мне во мнении Юлиуса? Не отпирайтесь: вы имели неосторожность встать между ним и мною. Вы имели дерзость посягнуть на его доверие, его привязанность ко мне! А это уже третий вызов, брошенный вами. Что ж, да будет так! Я злой гений Юлиуса, по крайней мере его отец так считает. Будьте же его добрым ангелом. Тогда между нами разыграется драма, достойная старинных легенд. Такое развитие сюжета меня прельщает. Это двойная борьба: между мной и вами за него, между ним и мной – за вас. Ваша любовь будет принадлежать ему, ваша ненависть – мне. Ненависть и любовь делят душу на две половины, и я уже сейчас опередил Юлиуса: у меня больше оснований быть уверенным, что я заполучил свою долю вашей души. В том, что вы питаете неприязнь ко мне, сомнения нет, а так ли уж вы убеждены, что любите его?

Христиана не отвечала ни слова, только смотрела на него, негодуя выпрямившись, онемев от гнева, очаровательная наперекор своему смятению, и лучшего ответа она не могла бы дать.

Самуил продолжал:

– Да, я ближе к цели, чем Юлиус. Вы же еще не сказали ему, что он любим. Более того: он, вероятно, пока не успел признаться вам с полной определенностью, что любит вас. Этот молодой человек нежен и красив, но ему всегда не хватало решительности. Что ж, и в этом отношении я его превосхожу. Итак, слушайте: вы меня ненавидите, я вас люблю.

– Сударь, это уж слишком! – вскричала Христиана вне себя от возмущения.

Самуил, по-видимому, не придал ее вспышке ни малейшего значения. Он обратил беззаботный взгляд на гранитную плиту, где лежали цветы, на которых гадала Гретхен.

– Что это вы здесь делали, когда я вам помешал? – осведомился он небрежно. – А, все понятно! Вы вопрошали травы. Хотите, я вам отвечу вместо них? Не угодно ли, чтобы я вам предсказал, что вас ждет, какое счастье или какая беда? Назвать ваши грядущие приключения бедой или счастьем, это уж вам виднее, но главное, они мне известны. Для начала могу сообщить вам новость, которая, надеюсь, вас заинтересует. Я предсказываю, что вы полюбите меня.

Христиана презрительно пожала плечами:

– О, чему-чему, а такому предсказанию я не верю. Подобной опасности не существует, так что не пугайте.

– Да вы не поняли, – усмехнулся Самуил. – Когда я говорю, что вы меня полюбите, я не имею в виду, что однажды покажусь вам очаровательным и вы станете испытывать ко мне безграничную нежность. Но что мне за дело до этого, если я сумею покорить вас, переступив через все ваши нежные чувства, и тем или иным способом, но добьюсь своего?

– Сударь, я вас действительно не понимаю.

– Ничего, поймете. Я говорю: рано или поздно, как бы то ни было, прежде чем мы отойдем в мир иной, наступит день, когда эта девочка, что осмелилась презирать меня – меня, Самуила Гельба! – захочет она того или нет, будет моей.

Христиана вскинула голову гордо и гневно. Если речь Самуила была обращена к юной девушке, то ответ, который он получил, был достоин женщины. С горькой усмешкой она сказала:

– О, теперь ясно, почему вы удалили Гретхен! Вы испугались, что с двумя детьми вам не справиться. Только теперь, когда я осталась одна, вы рискнули заговорить! И не постыдились оскорбить дочь человека, под чей кров вошли как гость! Что ж, хотя вы сильны, хотя в руках у вас ружье, а в сердце злоба, меня вам не испугать. И ответить вам я не побоюсь. Вы плохой предсказатель. Хотите знать, что действительно будет, и не рано или поздно, в некий день, а прежде чем через час? Я тотчас пойду домой, сударь, и все расскажу отцу, который выставит вас за дверь, и вашему другу, который вас накажет.

Она повернулась, чтобы уйти. Самуил, не пытаясь ее удержать, обронил только:

– Идите.

Охваченная удивлением и испугом, она остановилась и в тревоге глядела на него.

– Ну же, ступайте! – повторил он хладнокровно. – Вы сочли меня подлецом оттого, что я прямо высказал вам все, что у меня на уме и на сердце. Но будь я в самом деле таким трусливым негодяем, как вам кажется, я бы помалкивал и действовал втихомолку. Дитя! – продолжал он с каким-то странным выражением. – Дитя, придет час, когда ты узнаешь, что в глубине сердца этого человека, которому ты отказываешь в уважении, таится безмерное презрение к целому свету, но прежде всего – к самой жизни. Если тебе угодно убедиться в этом немедленно, беги, спешి изобличить меня. Да только нет, – продолжал он, – вы этого не сделаете. Ни вашему отцу, ни Юлиусу вы не скажете ни слова о том, что здесь произошло. Вы не пожалуетесь на меня, более того – будете с величайшим старанием избегать любых внешних проявлений вашей враждебности ко мне. Сталкиваясь со мной, вы будете холодны, как мрамор, но неизменно учтивы.

– С какой это стати? – спросила Христиана.

– Если бы вы позволили им хотя бы заподозрить, что злы на меня, ваш отец стал бы расспрашивать вас о причине такой неприязни, а Юлиус приступил бы с теми же вопросами ко мне. А он, как вы помните, сам признавался, что шпагой владеет хуже меня. Прибавлю к этому, что с пистолетом я тоже в большой дружбе. Я, видите ли, вообще много чего знаю и умею. Говорю это без хвастовства, тут нет особой заслуги, просто-напросто я трачу на сон не более четырех часов в сутки. Таким образом мне остается пятнадцать часов на всевозможные занятия и пять – на жизнь. Но и эти пять, на первый взгляд посвященные досугу, не остаются праздными: ни один из них не теряется попусту, они заняты работой моей мысли и воли. Когда кажется, будто я просто развлекаюсь, на самом деле я в это время изучаю языки, занимаюсь физическими упражнениями или практикуюсь в стрельбе, верховой езде и фехтовании. И, как вы можете убедиться, не без пользы. Таким образом, сказав Юлиусу хотя бы слово, вы его просто-напросто обрекли бы на верную смерть. Если, тем не менее, вы решитесь на такое, я буду рассматривать это как знак особой благосклонности ко мне.

Христиана посмотрела на него в упор.

– Что ж! – сказала она. – Я ни слова не скажу ни отцу, ни господину Юлиусу. Я сумею защитить себя сама. И я вас не боюсь, мне смешны ваши угрозы. Да что вы можете? Ваша наглость бессильна против моей чести. И коль скоро вы меня вынуждаете высказаться напрямик, извольте. Да, вы правы, с первой минуты, как я вас увидела, я испытала к вам непреодолимую неприязнь. Я почувствовала, что у вас злое, нечистое сердце. Только напрасно вы сочли это ненавистью. У меня нет к вам злобы, я вас презираю!

Мгновенная гримаса бешенства свела рот Самуила, но он тотчас овладел собой.

– В добрый час! – вскричал он. – Вот это настоящий разговор. Такой вы мне особенно нравитесь. Вы прекрасны в гневе. Стало быть, подведем итог. Вопрос поставлен ребром: во-первых, вы хотите отнять у меня мою власть над душой и волей Юлиуса, но вы ее не получите. Во-вторых, ты меня ненавидишь, но я люблю тебя, и ты будешь моей. Теперь между нами все ясно. А, вот и Гретхен.

Гретхен и в самом деле приблизилась к ним. Ступая медленно и осторожно, она с трудом несла на руках свою подстреленную лань. Она присела на обломок скалы, держа у себя на коленях бедное животное, не сводившее с нее жалобных, молящих глаз.

Самуил подошел и, опершись на ружье, встал над ними.

– Ба! – сказал он. – Да у нее всего-навсего раздроблена бедренная кость.

Гретхен, до того неотрывно смотревшая на свою лань, вскинула на Самуила яростный взгляд. Глаза девушки метали молнии.

– Вы чудовище! – сказала она.

– А ты ангел! – отвечал он. – Ты тоже меня ненавидишь, и я тебя тоже люблю. Не думаете же вы, что для такого властолюбия как мое, желать сразу двух побед слишком много? Однажды в Университете у меня была дуэль на шпагах с двумя студентами одновременно, и я ранил обоих противников, сам же не получил ни единой царапины. До свидания, мои прелестные врагини!

Он забросил ружье за спину, поклонился обеим девушкам и направился к дому пастора.

– Ох, фрейлейн, – вскричала Гретхен, – разве я не говорила вам, что встреча с этим человеком станет для нас роковой!

XXIII

Начало военных действий

Все это время Юлиус писал своему отцу длинное письмо.

Запечатав его, он оделся и вышел в сад. Там он нашел пастора. Молодой человек подошел к нему и, взяв за обе руки, крепко пожал их в порыве почтительной приязни.

– Значит, вы не пошли со своим другом на охоту? – спросил пастор.

– Нет, – отвечал Юлиус, – мне надо было кое-что написать.

Помедлив мгновение, он прибавил:

– Я писал письмо, от которого зависит счастье всей моей жизни.

Тут он вытащил послание из кармана и продолжал с волнением в голосе:

– В нем я задаю моему отцу вопрос, а ответа буду ждать с мучительным нетерпением. Я бы полжизни отдал, чтобы получить этот ответ часом раньше. Съездить за ним самому? Я было подумал об этом, но у меня не хватило смелости. Скажите, не найдется ли в Ландеке какого-нибудь почтового курьера, который согласился бы немедленно сесть на коня, чтобы отвезти это письмо во Франкфурт, а ответ доставить мне тотчас в Гейдельберг? Я бы ему заплатил сколько он пожелает.

– Это легко сделать, – отвечал пастор. – Сын почтаря как раз живет в Ландеке. Он знаком с содержателями почтовых лошадей по всему тракту, так как иногда подменяет своего отца, исполняя его обязанности. Он будет в восторге, если представится возможность заработать несколько флоринов.

– О! В таком случае вот оно, это письмо.

Господин Шрайбер взял письмо, позвал мальчика-слугу и велел ему передать сыну почтаря, чтобы он оседлал коня и поспешил прибыть сюда не позже чем через сорок пять минут.

– Именно столько времени нужно, чтобы дойти отсюда до Ландека и вернуться, – пояснил он Юлиусу. – Но письмо вам лучше отдать ему собственноручно, а то боюсь, как бы оно у меня не затерялось.

Собираясь возвратить Юлиусу его послание, пастор машинально бросил взгляд на адрес и с восторженным изумлением воскликнул:

– Барону фон Гермелинфельду? Это имя вашего отца, господин Юлиус?

– Да, – сказал Юлиус.

– Вы сын самого барона фон Гермелинфельда! И я, бедный сельский викарий, удостоился чести принимать у себя сына человека, чье имя прославлено по всей Германии! Сначала я радовался, что вы гостите в моем доме, теперь могу еще и гордиться этим! А вы даже не назвали своего имени!

– Я и вас прошу пока умолчать об этом в присутствии Христианы и Самуила, – сказал Юлиус. – Мы условились с Самуилом держать наши имена в секрете. Мне бы не хотелось показаться мальчишкой, который не способен сдержать слово даже сутки.

– Будьте покойны, – кивнул добряк-пастор, – я сберегу вашу тайну. Но я очень рад, что мы познакомились поближе. Сын барона фон Гермелинфельда? Если бы вы знали, как я им восхищаюсь! Мы часто беседуем о нем с моим ближайшим другом пастором Готфридом, они с бароном были товарищами по учению.

Беседу прервало появление Самуила. Увидев его, Юлиус спросил:

– Что ж, доволен ты своей охотой?

– Я от нее в восторге! Правда, я ничего не убил, – продолжал он, смеясь, – зато нашел норы и обнаружил следы.

В эту минуту вошла Христиана.

Молодые люди еще накануне объявили, что в обратный путь они отправятся после завтрака.

И вот все сели завтракать: пастор, втайне смакуя только что узнанную новость, лучился тихой радостью, Юлиус воспарял в мечтах, Христиана была сурова, а Самуил – чрезвычайно весел.

Когда принесли кофе, пастор бросил на Юлиуса ласковый умоляющий взгляд.

– Неужели, – сказал он, – вам необходимо так скоро возвращаться в Гейдельберг? Если вы спешите получить ответ на ваше послание, почему бы не подождать его здесь? Ведь здесь вы получите его часа на два раньше.

– Что до меня, – вмешался Самуил, – то я никак не могу остаться. Разумеется, было бы очень приятно провести всю жизнь под этим мирным кровом, наслаждаясь вашим гостеприимством, развлекаясь охотой и дыша свежим воздухом. Но у меня уйма дел, а теперь в особенности. Я занят одним исследованием и не намерен допускать перерыва в моей работе над ним.

– Но в таком случае, может быть, господин Юлиус...

– О, Юлиус волен распоряжаться собою. Однако и ему не мешало бы вспомнить, что в долине его также ждут дела.

Христиана, до сих пор молчавшая, пристально глядя на Самуила, спросила:

– Неужели эти дела так неотложны, что господин Юлиус не может подарить нам хотя бы один день?

– Вот именно! Помогите мне убедить его, дитя мое! – весело подхватил пастор.

– Ах, так против меня открыты военные действия? – Самуил продолжал смеяться, но взгляд, брошенный им на Христиану, сказал ей многое. – Да еще двое на одного – силы неравны. Однако я не сдамся, и если фрейлейн позволит мне сказать Юлиусу пару слов наедине, чтобы получше напомнить ему о долге, призывающем его в Гейдельберг...

– Что ж, действуйте, – произнесла Христиана с презрением.

Самуил отвел Юлиуса в сторонку.

– Ты мне доверяешь? – зашептал он. – Разве когда-нибудь тебе случалось раскаиваться в том, что ты следовал моим советам в тех или иных обстоятельствах своей жизни? Так вот, поверь мне и сейчас. Не поддавайся слабости! Сам видишь, наша рыбка клюет. Но берегись: если ей слишком потакать, можно все испортить. Едем со мной, заставь ее поскучать, пусть одиночество и неуверенность поработают на тебя. Твое отсутствие сейчас приблизит тебя к цели куда вернее, чем присутствие. С другой стороны, вспомни и о том, что в субботу, а точнее, в воскресенье, в час ночи состоится Генеральная ассамблея Тугендбунда. Не вздумай проспять ее, раскиснув среди усад Капуи! Кто ты такой, в конце концов: мужчина, любящий свою родину, или ребенок вроде Лотарио, цепляющийся за юбку? А впрочем, поступай как знаешь, ты же вполне свободен.

Юлиус возвратился к столу, погруженный в задумчивость.

– Ну, и как? – спросил пастор.

– Должен признаться, – отвечал Юлиус, – что его доводы были весьма убедительны.

Физиономия священника огорченно вытянулась, а Самуил бросил на Христиану торжествующий взгляд.

– Не отчаивайтесь, отец, – сказала Христиана, смеясь и скрывая невольный трепет. – Теперь моя очередь пошептаться с господином Юлиусом. Не правда ли, это будет только справедливо?

– Весьма справедливо! – вскричал добрейший пастор, не подозревая, что за драма разыгрывается перед его глазами под видом безобидной комедии.

Христиана отошла с Юлиусом подальше от стола:

– Послушайте. Мне не потребуется долгая речь. У меня к вам всего одно словечко, и если оно не перевесит всех советов вашего господина Самуила, пусть так: это будет означать, что я вовремя произвела поучительный опыт. Вчера, среди руин Эбербаха, вы мне задали один вопрос, на который я не смогла сразу ответить. Если вы останетесь, я отвечу на него.

– О да! – закричал Юлиус. – Я остаюсь!

– Bravo, Христиана! – обрадовался пастор.

– Я так и полагал, – холодно процедил Самуил. – И когда же ты вернешься?

– Ну, завтра, наверное, – сказал Юлиус. – Самое позднее послезавтра. Ответ моего отца придет завтра, не так ли, господин Шрайбер?

– Да, да, – кивнул пастор, – именно завтра. А вы, господин Самуил, не раздумали уезжать? Пример вашего друга не поколебал вас?

– О, меня поколебать трудно! – заявил Самуил. – Я никогда не меняю своих решений.

Христиана притворилась, будто не заметила угрозы, скрытой в этих словах, и как нельзя более естественным тоном сказала:

– А вот и лошади.

Действительно, кони Самуила и Юлиуса уже стояли оседланные у решетчатой ограды.

– Отведите назад в конюшню лошадь господина Юлиуса, – приказала девушка служанке, державшей их обеих под уздцы.

Самуил перехватил уздечку своего коня и вскочил в седло.

– Но в воскресенье ведь нет занятий, – сказал ему пастор. – Мы будем ждать вас и господина Юлиуса.

– Что ж, до воскресенья, – бросил Самуил суховато. – До завтра, Юлиус. Да не забудь о субботе.

Отвесив поклон Христиане и ее отцу, он дал лошади шпоры, и она понеслась галопом.

Почти сразу после этого прискакал курьер, и пастор передал ему письмо Юлиуса.

– Если вернешься завтра до полудня, получишь сто флоринов, – сказал ему Юлиус, – пока же вот тебе двадцать пять, в задаток.

Посланец так и застыл на месте, выпучив глаза, изумленный от радости, а потом вдруг сорвался с места и стремглав унесся вдаль.

XXIV

Союз Добродетели

Во вторник вечером Юлиус в Гейдельберг не вернулся.

Самуил усмехался про себя. Он того и ждал. Но прошла среда, миновал четверг – Юлиус все не ехал. Самуил, охваченный свойственной ему горячкой работы, не обратил на это обстоятельство никакого внимания. Однако в пятницу, когда для него наступил час отдыха, он почувствовал легкое беспокойство. Что могло означать это затянувшееся отсутствие? Он взял перо и стал писать Юлиусу письмо:

«Мой любезный соратник,

до сих пор Гераклес еще имел право прятаться, сидя у ног Омфалы. Но, надеюсь, он все же не забыл о великих делах, ждущих его завтра. По крайней мере, если Омфала не окажется на поверку Цирцеей и не превратит мужчину в животное, он вспомнит о долге, призывающем его. Мать всегда важнее любовницы, равно как идея – выше любви. Родина и свобода!»

«Уж теперь он явится как миленький», – сказал себе Самуил.

И всю субботу он ни разу не вспомнил о Юлиусе. Генеральная ассамблея должна была собраться не ранее полуночи.

В течение дня он послал осведомиться о здоровье двоих раненых. Франц Риттер и Отто Дормаген были прикованы к постели, из которой, по уверениям врача, смогут подняться только недели через две. Приказ Тугендбунда был исполнен. Самуил и Юлиус могли с гордо поднятой головой предстать перед его вождами.

Когда стемнело, Самуил, по обыкновению, отправился прогуляться по некарштейнахской дороге, по которой должен был прибыть Юлиус. На распутье ему повстречался кто-то показавшийся ему знакомым, но то был не Юлиус. Вернувшись в гостиницу, он спросил хозяина:

– Юлиус у себя наверху?

– Нет, господин Самуил, – отвечал тот.

Самуил поднялся к себе и заперся. Он был в бешенстве.

«А крошка-то посильнее, чем казалась! – думал он. – Что ж, она мне за все заплатит. Библия гласит: “Крепка, как смерть, любовь”. Посмотрим, так ли это».

Часы пробили девять, десять, десять с половиной. Юлиус не появлялся.

В одиннадцать, утратив всякую надежду, Самуил решил отправиться на ассамблею один.

Он уже протянул руку к своей фуражке, собираясь идти немедленно, как вдруг в коридоре послышались торопливые шаги.

«Ну, наконец-то! – подумал Самуил. – Все в порядке!»

Однако, отперев дверь, он увидел перед собою не Юлиуса, а гостиничного слугу.

– Чего тебе надо? – грубо спросил он.

– Там студент проездом из Лейпцига, он специально завернул к нам, чтобы повидаться с королем студентов.

– Мне сейчас некогда, – отрезал Самуил. – Пусть завтра зайдет.

– Он завтра не сможет. Да, он велел вам передать... он якобы странник.

При слове «странник» физиономия Самуила мгновенно приобрела самое серьезное выражение.

– Пусть войдет, – промолвил он торопливо.

Слуга удалился, а мнимый студент из Лейпцига тотчас вошел. Самуил старательно запер дверь на ключ.

Вновь прибывший пожал Самуилу обе руки, особым образом скрестив большие пальцы, шепнул ему на ухо несколько слов, потом обнажил свою грудь и показал висевший на ней медальон.

– Хорошо, – сказал Самуил. – Впрочем, я и так тебя узнал. Ты тот, кто странствует по долине Неккара. Есть какие-то новые известия?

– Да. Приказ отменен. Генеральная ассамблея сегодня вечером не состоится.

– Вот так новость! – вскричал Самуил. – Это еще почему?

– Кто-то донес. Готовилась засада, всех бы схватили. К счастью, один из высших руководителей был вовремя предупрежден. Встречу перенесут. О ней будет сообщено в свое время.

– В котором часу вы получили это предостережение? – спросил Самуил.

– В полдень.

– Странная штука, – нахмурился король студентов, всегда склонный к подозрительности. – В сумерках на дороге, ведущей к замку, мне попался некто, плотно закутанный в плащ и прячущий лицо за полями низко надвинутой шляпы. Но если я не ошибаюсь, это был один из наших предводителей. Как все это понимать?

– Не знаю, брат. Я выполнил свою обязанность, передав тебе то, что было мне поручено. Мне остается только удалиться.

– Однако, – настаивал Самуил, – что, по-твоему, случится, если я пренебрегу этим сообщением и все же отправлюсь на место ранее назначенной встречи?

– Я бы не советовал. Там тебя встретят полицейские агенты, они наверняка повсюду расставили свои посты. Ты рискуешь угодить в государственную тюрьму лет на двадцать.

Самуил пренебрежительно усмехнулся:

– Понятно, брат. Благодарю.

И он проводил странника до дверей.

Когда тот удалился, Самуил поглядел на часы: было около половины двенадцатого.

«Время у меня есть», – сказал он себе.

Он надвинул на лоб фуражку, взял кованую трость и два пистолета и вышел из гостиницы.

Как и в прошлый раз, он сначала дошел до набережной. Но теперь он взобрался по крутому берегу Неккара много дальше, чем тогда, и, вместо того чтобы тут же выйти на дорожку с выбитыми в камне ступенями, обошел замок так, чтобы приблизиться к нему не со стороны города, а с противоположной стороны.

Пройдя шагов четыреста или пятьсот, огибая черную громаду горы и развалин, он остановился, всматриваясь во мрак, силясь разглядеть, есть ли там кто-нибудь. Не обнаружив ни единой живой души, он двинулся прямо к толстой, некогда отвесной, а ныне полуобвалившейся стене.

«Это здесь, – говорил он себе, пробираясь во тьме, – да, именно возле этого угла мне попался тот субъект, нынешний обладатель моего крейсера. Итак, тропа, по которой он шел, никуда не ведет, она упирается в стену. Должно быть, наши достославные и окутанные глубочайшей тайной предводители, как и я сам, обнаружили ход в подземелье, скрытый кустарником. Что до полиции, то она, вне всякого сомнения, верна своим похвальным привычкам, то есть пребывает по этому поводу в девственном неведении и довольствуется тем, что с чрезвычайным тщанием охраняет парадный вход, через который, разумеется, никто и не подумает войти или выйти. Что за превосходное учреждение, у всех цивилизованных народов равно умиляющее всех своим величием!»

Самуил подошел к подножию высокой стены, сплошь покрытой травой, мелкими кустиками и побегами плюща. Приблизившись туда, где полог растительности был особенно густ, он, раня руки шипами, отстранил колючие кусты и плети дикого винограда, отодвинул в сторону огромный валун, впрочем тотчас же вернув его на место, спустился, а вернее, скатился в нечто вроде пещеры и стал бродить по старинным подвалам этой части здания.

Но предводители Тугендбунда, предполагая, что Самуил догадается, где именно их искать, надежно затаились среди мрачных закоулков этих катакомб. Самуил долго брел наудачу, натываясь в потемках на шаткие камни, стремящиеся укатиться из-под ноги, и принимая за человеческие голоса крики ночных птиц, чью дремоту он потревожил. Иногда он чувствовал у самого лица тяжкие взмахи их крыльев.

«Однако любой другой уже бы струсил, да и утомился бы», – сказал себе Самуил.

Наконец, добрых полчаса проблуждав на ощупь, он заметил вдалеке слабый свет, подобный тому, что отбрасывает потайной фонарь.

Он направился в ту сторону, и его глаза, привыкшие к темноте, вскоре различили трех мужчин в масках, сидевших под сводом подвала.

Подойдя к ним довольно близко, он затаил дыхание и напряг слух, но тщетно: ничего разобрать ему не удалось.

Тем не менее, судя по жестам этой троицы, было понятно, что они ведут беседу, только очень уж тихими голосами.

Самуил подобрался еще ближе, опять замер и прислушался.

Но и на этот раз он ничего не расслышал.

Внезапно он принял новое, до крайности дерзкое решение.

– Это я! – крикнул он. – Я свой! Самуил Гельб!

И двинулся прямо к замаскированной троице.

Услышав крик, все сразу, словно подброшенные одной незримой пружиной, вскочили с гранитных плит, где они сидели до того, и кинулись к пистолетам. Те, заряженные, лежали рядом. Но что разглядишь в потемках? Самуил, который, не в пример им, отлично их видел, уже держал в каждой руке по пистолету.

– О-ля-ля! – сказал он спокойно. – Неужели мы станем поднимать шум и привлекать сюда полицию? И что у вас за манера встречать друзей? А я друг, Самуил Гельб, как уже было сказано. Но предупреждаю вас, что при необходимости я буду защищаться и, прежде чем умереть, уложу, по меньшей мере, одного из вас. К тому же, прикончив меня, вы ничего не выиграете.

Разглагольствуя таким образом, он подходил к неизвестным все ближе.

Трое в масках волей-неволей испытывали на себе возрастающее действие этого странного и дерзкого хладнокровия. Пистолетные дула опустились.

– Так вот лучше! – сказал Самуил.

Он разрядил свои пистолеты, засунул их в карман и приблизился к замаскированной троице вплотную.

– Несчастный! – произнес один из предводителей, и Самуил узнал его голос: это был тот самый человек, который на недавнем заседании обратился к нему с такими торжественными, исполненными суровой укоризны словами. – Как ты проник сюда? Разве тебе не передали новый приказ? Говори хотя бы потише...

– Я готов говорить так тихо, как вы пожелаете. И будьте покойны: за мной никто не следил, и я закрыл за собой потайной вход, известный мне одному. Приказ мне передали, но именно потому, что наверху не будет общего сбора, случайная встреча дала мне повод предположить, что внизу, в этом подземелье, которое я открыл, вероятно, еще раньше вас, состоится другое, быть может особое, совещание. Как видите, мои умозаключения были не совсем безосновательны.

– Ты что же, посягаешь на право вмешательства в решения высшего совета?

– Я не посягаю на вмешательство во что бы то ни было. Успокойтесь, я пришел не затем, чтобы навязываться, а только чтобы предложить себя в ваше полное распоряжение.

– В каком смысле? Объяснись.

– Дела нашего Союза пришли в некоторое расстройство, это же очевидно, как и то, что вы наверняка озабочены подобным обстоятельством. Так что же, разве это не мое право или даже долг – удвоить свое рвение, если трудности умножились, и явиться сюда, чтобы предложить вам располагать мною?

– Это было единственным побуждением, толкнувшим тебя на такую авантюристическую выходку?

– А разве здесь возможна другая причина? Или вы сомневаетесь в моей преданности общему делу? А ведь вы уже испытывали меня, и, как мне кажется, я не обманул вашего доверия.

Трое неизвестных тихо заговорили между собой.

Похоже, результат этих переговоров был благоприятен для Самуила, так как предводитель, повернувшись к нему, сказал:

– Самуил Гельб, ты дерзок, но мы признаем тебя своим соратником. Нам известно, что ты умен и храбр. Верно и то, что ты оказал Союзу важную услугу, не опозорил своей шпаги в вашей дуэли с двумя изменниками. Мы сожалеем, что в настоящее время лишены возможности достойно вознаградить тебя за это. Но коль скоро ты отважился проделать ради встречи с нами столь головоломный путь, мы нашли способ выразить тебе свою признательность не только словесно. Ты получишь сейчас неслыханное доказательство нашего доверия. Мы откроем тебе смысл и цель нашего сегодняшнего совещания, и это даст тебе право на звание посвященного второй ступени.

– Благодарю, – с поклоном сказал Самуил. – Клянусь Богом, вы не раскаетесь в том, что оказали мне эту честь.

– Так слушай же. Случилось вот что. Один из наших, человек, который занимает весьма значительное положение в сферах власти, получил приказ, не подлежащий обсуждению, этой ночью организовать облаву на нас. Этим осложнением мы обязаны именно тому, что Отто Дормаген и Франц Риттер из-за своих ран вышли из игры. Когда стало ясно, что они не смогут присутствовать на нашей ассамблее, наши противники, видимо, рассудили, что благоразумнее раздавить врага, за которым больше невозможно шпионить. Короче, было решено покончить с нами в открытую. Дормаген и Риттер сообщили им пароль и все тайные условные знаки, необходимые для того, чтобы проникнуть на наше собрание беспрепятственно. Наш соратник, получивший приказ расставить нам сети, не мог ослушаться: этим он выдал бы себя – всем стало бы ясно, что он соучаствует в нашем заговоре. Вот ему и пришлось поставить на ноги всю полицию. Но он и нас успел предупредить. Теперь полицейские агенты сторожат все входы, им известен пароль, и они ждут, когда наши братья придут сюда, чтобы поодиночке попасть в ловушку. Так они прождут до завтрашнего утра, но никто не явится, и они уйдут, откуда пришли, а мы останемся невредимы.

– Стало быть, – заметил Самуил, – вы отделались тем, что были вынуждены отменить ассамблею, которая состоится позже, – только и всего.

– Это и в самом деле не столь уж большая неприятность, – заметил предводитель. – У нас все равно нет сейчас неотложных планов. Наш главный враг, император Наполеон, в настоящее время находится на вершине своей славы и удачлив, как никогда. Наши князья и короли толпятся у него в прихожей и не мечтают о большей чести, чем добиться приглашения на его охоту. Ныне бесполезно предпринимать что-либо во имя независимости Германии. Но обстоятельства могут измениться. Кто смог возвыситься, может и пасть. А когда враг стоит на краю пропасти, довольно внезапного толчка локтем, чтобы он скатился в нее.

– Будем надеяться, – сказал Самуил. – И когда такой случай представится, Самуил Гельб сможет вам пригодиться. А до тех пор что вы намерены делать и что мог бы сделать я?

– До тех пор необходимо, чтобы Тугендбунд держался начеку и был готов к любым превратностям. Его предводители ежечасно должны знать, где искать самых верных адептов движения и как с ними связаться. Эти развалины больше не смогут служить нам: нужно искать другое место для собраний. Подземелье, в котором мы находимся, имеет всего один выход, если он будет обнаружен, мы все до единого попадем в руки полиции. Где же нам теперь проводить Генеральные ассамблеи? Это и есть тот главный вопрос, над которым мы ломали голову, когда ты нас прервал. Это вопрос жизни, а может быть, и смерти. Пока нам не удалось найти ни одного укрытия, которое можно признать достаточно надежным.

– Задача действительно не из легких, – согласился Самуил Гельб.

– Может быть, тебе известно в полном смысле потаенное место? – продолжал предводитель. – Какой-нибудь надежно запрятанный приют, откуда вместе с тем при надобности можно было бы ускользнуть не одним, а многими путями? Уголок, одновременно скрытый от глаз вражеских соглядатаев и открытый для возможного бегства? Если найдешь такое место, ты тем самым окажешь Союзу новую услугу, разумеется гораздо более значительную, чем первая.

Поразмыслив с минуту, Самуил сказал:

– Вы меня застали врасплох. Так сразу мне ничего не приходит в голову. Но я поищу такое место, а на моем языке это означает, что я его найду. Когда это произойдет, как я смогу вас известить? Назначьте мне новую встречу.

– Это невозможно. Однако послушай. Пятнадцатого числа каждого месяца наш посланник, тот, что обходит долину реки, на берегу которой ты обосновался, будет навещать тебя и спрашивать: «Ты готов?» Как только ты ответишь утвердительно, мы сами тебя найдем.

– Договорились. Благодарю вас и прошу на меня положиться. Теперь вы спокойно можете разойтись. Вы уже нашли если не место, то человека, который вам его предоставит.

– Нет нужды напоминать тебе, что все это следует держать в секрете. Речь идет о деле, в котором твоя голова поставлена на кон наравне с нашими.

Самуил только пожал плечами.

Затем, повинуясь знаку предводителя, он поклонился и ушел.

Обратную дорогу он отыскал куда легче. Лунный свет, просачиваясь сквозь густой кустарник, своим бледным мерцанием указал ему, где выход.

Он возвращался веселый и гордый: он поднялся сегодня на целую ступень. Честолюбивые замыслы теснились в его мозгу. О Юлиусе он вспомнил, только когда уже входил в свою комнату.

«Черт возьми! – сказал он себе. – Что все-таки подделывает наш Юлиус? Неужели малютка Христиана действительно отняла у меня эту душу, которую я привык считать своей безраздельной собственностью? Или его там в Ландеке тоже успели предупредить, что Генеральная ассамблея не состоится? И чем он там мог заниматься целую неделю? Да ладно! Нечего морочить себе голову. Завтра воскресенье – вот завтра я и узнаю все».

XXV

Победа благодаря внезапности

Когда Самуил в тот же час, что и неделю назад, подъехал к дому священника, калитка была заперта. Он позвонил. Появились горничная и мальчик-слуга.

Парнишка взялся позаботиться о лошади гостя, а горничная повела его в столовую.

Стол был накрыт, но всего на два прибора.

Самуил остановился на пороге, слегка озадаченный.

Служанка попросила его немного подождать и вышла из комнаты.

Через мгновение дверь отворилась. Самуил сделал было шаг навстречу вошедшему, но вдруг отшатнулся в изумлении.

Перед ним был барон фон Гермелинфельд.

Отец Юлиуса смотрел на него очень серьезно, и его лицо было сурово. Ему было около пятидесяти. Он был высокий, осанистый, крутолобый, с рано поседевшими от неустанных занятий волосами, с глубокими проницательными глазами, красивым лицом, гордым, строгим и немного печальным.

Он приблизился к Самуилу, не сумевшему скрыть, что он несколько сбит с толку, и заговорил первым:

– Вы не ожидали меня увидеть, особенно здесь, не так ли, сударь?

– В самом деле, – признал тот.

– Присядьте же. Почтенный пастор Шрайбер на сегодня предлагает вам свое гостеприимство. Он не хотел, чтобы вы, приехав, застали дом запертым. Вот я и остался, чтобы вам открыть.

– Прошу прощения, – промолвил Самуил, – но я что-то не пойму...

– Ну да, вам же, верно, кажется, будто я говорю загадками? – продолжал барон фон Гермелинфельд. – Но если вам любопытно узнать разгадку, садитесь к столу. Позавтракаем вместе, и я вам все объясню.

– Согласен, – с поклоном отвечал Самуил.

И он храбро уселся за стол напротив барона.

Наступило молчание: эти двое, такие разные, сойдясь лицом к лицу, казалось, наблюдали друг за другом.

И снова барон начал первым:

– А случилось вот что... Угощайтесь, прошу вас. Как вам, может быть, известно, в прошлый понедельник утром Юлиус послал мне письмо. Я получил его во Франкфурте. Это письмо было полно любви и тревоги.

– Не сомневаюсь в этом, – сказал Самуил.

– В нем Юлиус писал мне, что он повстречал Христиану и что она стала для него едва ли не с первой минуты его первой любовью, его мечтой, всей его жизнью. Он говорил о ее грации и чистоте, о ее отце, о сладостной жизни, которую он хотел бы вести в этой тихой долине, в лоне этого мирного семейства.

Итак, вот в чем состояла его просьба. Он опасался, что я, богатый, знатный и знаменитый, никогда не соглашусь благословить его любовь к бедной девушке, безродной и безвестной. Как я понимаю, именно вы внушили ему такую боязнь?

– Так и было, – кивнул Самуил.

– Однако Юлиус прибавил еще, что, в случае если я отвечу на его просьбу отказом, будь то по причине его молодости или ее бедности, он ни за что не поступит так, как посоветовали ему вы: он не соблазнит Христиану. Такой совет, как и сам советчик, внушил ему ужас.

Нет, писал он мне, он никогда бы не смог злоупотребить благородной доверчивостью девушки и ее отца, обесчестить Христиану, купив счастливое мгновение для себя ценой целой жизни, полной для нее стыда и слез. Если бы я не внял его мольбе, он бы удалился с разбитым сердцем. Он писал, что в этом случае откроет Христиане свое имя, сообщит об отцовском запрете и покинет ее навсегда.

– Все это действительно весьма похвально, – заметил Самуил. – Будьте любезны, сударь, передайте мне вон тот кусочек окорока.

– Когда мне принесли от Юлиуса это письмо, столь исполненное любви, а также сыновней преданности, – продолжал барон фон Гермелинфельд, – прошло уже четыре дня с тех пор, как я получил ваше послание, Самуил. Четвертый день я обдумывал ваши дерзкие и нечестивые слова, спрашивая себя, что мне делать, как противостоять вашему разлагающему влиянию, этой мрачной незаконной власти вашей над нежной, чуткой душой Юлиуса. Когда же пришло письмо от него, мне хватило десяти минут, чтобы принять решение.

О нас, мыслителях и людях науки, – продолжал он, помолчав, – обычно думают, что мы не созданы для решительных действий, ибо неспособны всем существом отдаться пустой суете так называемых людей дела, у которых только и есть, что этот восхитительный довод, чтобы считать себя практиками. Однако рассуждать таким образом – это как упрекать птиц в том, что они не умеют ходить, поскольку у них есть крылья. Но один взмах крыла стоит тысячи шагов. Когда мы начинаем действовать, мы в один день совершаем то, на что другим потребовалось бы десятилетие.

– Я всегда был того же мнения, сударь, – отвечал Самуил, – так что вы мне не сообщили ничего нового.

– Посланный ждал ответа, – вновь заговорил барон, – он собирался вернуться в Ландек на завтра еще до полудня. Я сказал ему, что ответа не будет, и просил отложить его возвращение домой до завтрашнего вечера.

Он отказывался, ведь Юлиус обещал ему сто флоринов.

Я дал ему двести, и он уступил.

Уладив дела с посланцем, я, не теряя ни минуты, поспешил к пастору Готфриду. Это один из светочей реформатской церкви и мой друг детства. Я спросил его, известен ли ему пастор Шрайбер.

Оказалось, что тот входит в число его близких друзей.

Готфрид описал мне пастора как простого, скромного, бескорыстного человека с золотым сердцем, сказал, что его глаза постоянно обращены к небесам в созерцании Бога и двух ангелов, до срока отлетевших от него, а на земле его заботят лишь страдания ближних, которые он старается по мере сил облегчить.

О Христиане Готфрид сказал лишь одно: это дочь, достойная своего отца.

На обратном пути я проезжал через Зейле; там на почтовой станции я заказал лошадей и в ту же ночь поскакал в Ландек.

Добравшись туда во вторник утром, я отправил почтовую карету в Неккарштейнах и пешком обошел весь Ландек, заходя в каждый дом и всех расспрашивая о господине Шрайбере и его дочери.

Все без исключения повторяли то же, что говорил мне Готфрид. Никогда еще столь единодушный хор благословений не возносился от земли к Господу, прославляя пред его ликом двух смертных. В глазах этих добрых людей пастор и его дочка были живыми, во плоти, посланцами благого Провидения. Для этой деревни эти двое стали чем-то большим, чем жизнь, – они стали ее душой.

Ах, Самуил! Что вы там ни говорите, а добродетель не бывает тщетной. Когда тебя любят, в этом есть великая отрада.

– А подчас и немалая выгода, – вставил Самуил.

– Ну, а я повернул вспять и возвратился к дому священника.

В этой самой зале, где мы с вами сейчас сидим, я нашел Юлиуса, Христиану и пастора. Пораженный до глубины души, Юлиус воскликнул:

«Отец!»

«Барон фон Гермелинфельд!» – вскричал пастор, не менее удивленный.

«Да, сударь, барон фон Гермелинфельд, который имеет честь просить у вас для своего сына Юлиуса руки вашей Дочери Христианы».

Господин Шрайбер остолбенел, сиюсь понять происходящее и опасаясь, что все это ему снится или что рассудок покидает его.

Христиана с плачем бросилась ему на шею. Сам не зная отчего, он тоже прослезился и улыбался сквозь слезы.

Самуил прервал собеседника.

– Весьма умильная сцена, – сказал он, – но будет разумнее, если вы ее пропустите. Как вам известно, я не особенно сентиментален.

Он, Самуил, уже давно оправился от неожиданности. Появление барона и его первые слова дали ему понять, что тот покушается разрушить его власть над душой Юлиуса, и этот характер, созданный для борьбы, тотчас дал себя знать. Все его высокомерное ироническое хладнокровие вернулось к нему, и он, слушая рассказ барона, преспокойно ел и пил, притом с самым довольным видом, не упуская ни кусочка, ни глоточка.

Барон фон Гермелинфельд промолвил:

– Я сокращу свое повествование. Собственно, оно и так идет к концу.

Весь день я провел с этой счастливой влюбленной четой. Бедные дети! Я был сполна вознагражден их радостью. Они так меня благодарили, словно я был вправе разрушить то, что сам Бог так хорошо устроил. Вы меня плохо знали, Самуил, вы считали меня слишком мелочным. Правда, вам случалось меня видеть в те минуты, когда я делал уступки косным и несправедливым предрассудкам света. Но знайте: потворствуя этим предрассудкам внешне, я всегда старался исправлять их последствия. Однако будем же чистосердечны и справедливы: не слишком ли часто сама действительность подтверждает правоту общества?

– Я понял ваш деликатный намек, сударь, – с горечью произнес Самуил. – Продолжайте.

И барон продолжил:

– Да с чего бы, по-вашему, я стал противиться этому браку? Потому что Христиана бедна? Но богатства Юлиуса хватит на двоих. Да и на четверых, если учитывать наследство моего брата. Или из-за того, что она не знатного происхождения? А кем был я сам двадцать лет назад?..

Однако вернусь к фактам. В среду я отправился во Франкфурт, в четверг – вернулся в Ландек, заручившись всеми мыслимыми разрешениями властей гражданских и церковных и прихватив с собой моего друга пастора Готфрида.

Вчера утром в Ландекской часовне Готфрид обвенчал Юлиуса и Христиану.

Не сердитесь на Юлиуса, что он не пригласил вас на свадьбу. Это я помешал ему известить вас.

Через час после бракосочетания Юлиус и Христиана отправились в свадебное путешествие – оно продлится целый год. Они побывают в Греции и на Востоке и вернутся домой через Италию.

Господин Шрайбер не мог решиться на столь внезапную разлуку с дочерью. Он вместе с Лотарио, двигаясь неспешно и давая отдых своим старым костям, проводит молодых до Вены. Там они распрощаются, и он вернется в свою долину, предоставив их южному солнцу и любви. Итак, Самуил, что вы на это скажете?

– Я скажу, – произнес Самуил, вставая из-за стола, – что вы очень ловко умыкнули у меня Юлиуса. Похищение удалось на славу. Маневрируя в борьбе со мной, вам пришлось впасть в бескорыстное великодушие, и вы очень мужественно извлекли выгоду из своего безвыходного положения. Все это было сделано с размахом, и надо признать, что первую ставку я проиграл. Но я еще возьму реванш!

Он позвонил. Вошла горничная.

– Велите седлать мою лошадь, – сказал он. – Я уезжаю.

Барон усмехнулся:

– Вы что же, ринетесь в погоню?

– Вот еще! – пожал плечами Самуил. – Просто подожду их возвращения. У меня, благодарение Богу, есть в этом мире чем заняться, и я не собираюсь посвящать всю мою жизнь единственной цели, к тому же банальной – всего-навсего выиграть пари или нечто в этом роде. Проявлять чрезмерную прыть в подобных обстоятельствах – удел посредственности. Но всему свое время. Настал ваш час, ваш и Христианы, и вы им воспользовались, чтобы взять надо мной верх. Потом наступит моя очередь, и уж я сумею расквитаться с вами. Ваша игра сыграна, теперь начинается моя.

– Почему же сыграна? Я еще не кончил, – возразил барон. – Этот год, когда их здесь не будет, я намерен употребить на то, чтобы осуществить мечту Юлиуса. Я и здесь задержался не только затем, чтобы составить вам компанию. На крайний случай я отправил вам письмо: вы должны были получить его перед тем, как отправиться в путь, что избавило бы вас от утомительной надобности ехать в такую даль, чтобы нанести визит здешним слугам. Я же ожидаю здесь архитектора из Франкфурта. Я хочу приобрести и в течение этого года заново отстроить Эбербахский замок, чтобы Юлиус, вернувшись, нашел здесь на месте покинутых руин свою овеществленную грезу, словно по волшебству поднявшуюся из земли и венчающую собой горную вершину. Я сделаю так, чтобы он ни в чем не терпел недостатка: любовь, наполняющая его сердце, и благоденствие, царящее в его жизни, должны создать безупречную гармонию. Его счастье – вот мое оружие против вас.

– Так вам угодно, чтобы моим оружием против вас стало его несчастье? – усмехнулся Самуил. – Но должен предупредить вас, нежный родитель, что все ваши усилия окажутся напрасны. Вам не вырвать у меня Юлиуса. Он мною восхищается, а я – я его люблю. Да, разрази меня Господь! – крикнул он, заметив протестующий жест барона. – Я люблю его так, как только душа гордая и сильная может любить предавшуюся ей покорную и слабую душу. Слишком долго мы были рядом: дух вашего сына отмечен моим тавром, оно отпечталось так глубоко, что вам его не стереть. Вам не изменить ни его натуру, ни мою. Не в вашей власти сделать его энергичным или меня щепетильным. Вы хотите перестроить для него замок? В добрый час, но попробуйте переделать его характер! Его шаткий, нерешительный нрав нуждается в твердой, грубой руке, которая бы поддерживала его и направляла. Неужели такое дитя, как Христиана, в состоянии оказать ему эту услугу? Ему и года не потребуется, чтобы соскучиться и понять, как я ему необходим. Мчаться за ним вдогонку? Чего ради? Он сам ко мне прибежит.

– Послушайте, Самуил, – сказал барон, – вы меня знаете. Вам известно, что человек моего склада не отступает, когда ему бросают вызов, и не склонен отказываться от борьбы. Да будет вам известно: то, чего Христиана не могла открыть ни своему отцу, ни Юлиусу, она рассказала мне, ибо сразу поняла, что смело может это сделать. Да, сударь, она передала мне ваши чудовищные угрозы, и само собой разумеется, что в ее единоборстве с вами я буду ее секундантом.

– Что ж, тем лучше! – сказал Самуил. – Это придаст делу особую приятность.

– Нет, Самуил, вы же клевете на себя, несомненно клевете! – воскликнул барон. – Не может быть, чтобы вы были настолько выше угрызений совести или, если вам угодно,

предрассудков! Я дал себе слово сделать все, что в моих силах, чтобы покончить с вами дело миром. Самуил, вы хотите примирения? Возможно, я и вправду кое в чем тоже виноват перед вами. Я готов разорвать ваше письмо и забыть ваши оскорбительные речи. Вы честлюбивы и горды – что ж, я достаточно богат и могуществен, чтобы помочь вам, не повредив будущности Юлиуса. Как вам известно, в Нью-Йорке у меня есть старший брат, который там вел торговлю и нажил состояние, по солидности и блеску раза в три-четыре превосходящее мое собственное. Он бездетен, и все его имущество перейдет к Юлиусу. Завещание уже составлено, копия хранится у меня. Следовательно, я могу располагать моим имуществом без всяких опасений. Самуил, поклянитесь отказаться от ваших гнусных замыслов и просите за это все, что угодно.

– Чечевичную похлебку? – язвительно усмехнулся Самуил. – Вы плохо выбрали момент, чтобы предложить мне эту сделку. После сытного обеда господина Шрайбера она как-то не соблазняет. Я уже не голоден и потому склонен оставить мои права первородства при себе.

За окном столовой послышалось конское ржание. Тут же появилась служанка, сообщившая Самуилу, что конь оседлан.

– Прощайте, господин барон, – сказал Самуил. – Моя свобода мне дороже ваших богатств. Я никому не позволю повесить мне жернов на шею, будь он хоть из чистого золота. Неужели мне следует убеждать вас, что я из тех честлюбцев, что охотно питаются сухой коркой, из тех гордецов, кого не смущают заплаты на их одежде?

– Еще два слова! – остановил его барон. – Разве вы не заметили, что до сих пор все ваши злобные намерения обращались против вас же? Главной причиной, побудившей меня отдать Юлиуса Христиане, было ваше письмо, где вы угрожали отнять его у меня. Не кто иной, как вы сами, поженили этих детей: ваша ненависть породила их любовь, а ваши угрозы сделали их счастливыми.

– Что ж, в таком случае вы должны желать, чтобы я продолжал их ненавидеть и грозить им, коль скоро все, что я предпринимаю им во вред, оборачивается к их пользе. И ваше желание будет исполнено с избытком! Ах, значит, моя ненависть служит их удаче! В таком случае вы смело можете на меня рассчитывать: уж я потружусь им на благо! Будьте покойны, я сполна представлю вам это свидетельство моей преданности. Так я стану вашим сыном на свой манер. Я не прощаюсь, сударь. Мы встретимся с вами через год, а может статься, что и раньше.

И, отвесив поклон, Самуил вышел с высоко поднятой головой. Его горящий взгляд был полон угрозы.

Барон фон Гермелинфельд задумчиво склонил голову.

– Быть может, наша борьба нечестива, – пробормотал он. – Он не прав в своем бунте против целого света. А прав ли я, объединившись с целым светом против него? И не затем ли неисповедимая воля Провидения послала нас друг другу, чтобы жестоко покарать обоих?

XXVI

Импровизация в камне

Тринадцать месяцев спустя после описанных нами событий 16 июля 1811 года около половины одиннадцатого утра от дома священника в Ландеке отъехала почтовая карета. Она покатила тою же дорогой, где год тому назад Юлиусу и Самуилу повстречалась Гретхен.

В карете ехали четверо или даже пятеро, если считать пассажиром крошечного бело-розового младенца никак не старше двух месяцев от роду, дремавшего на коленях кормилицы, свежей миловидной крестьянки в греческом национальном наряде, сверкавшем яркими красками.

Трое других путешественников были: очень красивая дама в трауре, молодой человек и горничная.

На запятках кареты сидел лакей.

Молодой человек был не кто иной, как Юлиус, женщина – Христиана, а дитя – их первенец.

Надеть траур Христиану заставила смерть отца. Добрейший господин Шрайбер скончался уже десять месяцев назад. Отправившись в горы во время страшной бури, чтобы дать последнее пастырское напутствие умирающему, достойный священник подхватил зачаток того недуга, что быстро свел его в могилу. Ведь Христиана в нем больше не нуждалась, и он покинул этот мир, благодаря Господа за то, что позволил ему соединиться с другой своей дочерью и любимой женой. Он угасал тихо, почти с радостью. После его кончины барон фон Гермелинфельд послал за Лотарио, и воспитание внука пастора Шрайбера было поручено им пастору Готфриду.

Эта печальная весть, словно черная туча, затмила для Христианы сияющую зарю ее счастья. О смерти отца ей сообщили тогда же, когда и о его болезни, так что у нее не было возможности вернуться, чтобы увидеть и в последний раз обнять его. К тому же она в то время уже была беременна, и Юлиус не позволил ей пуститься в столь долгий путь лишь затем, чтобы преклонить колена у холодной могилы. Сверх меры трепеща за ее здоровье, он даже решил отказаться от дальнейших планов их путешествия и надолго обосновался со своей обожаемой супругой на одном из цветущих островов Архипелага.

Первоначальная душераздирающая боль утраты мало-помалу слабела. Теперь, когда в целом мире у нее не осталось больше никого, кроме Юлиуса, Христиана полюбила его еще больше, и постепенно ее утешением в скорби об отце стало полное нежных надежд ожидание ребенка, которому предстояло вскоре появиться на свет. Материнское чувство, расцветая в ней, смягчало печаль осиротевшей дочери.

Так для Юлиуса и Христианы протекали счастливейшие месяцы их жизни, наполненные чарами Востока и волшебством юной любви. Их души порхали над морем на легких крыльях бриза; небеса благословенной Греции дарили их сердцам свою безоблачную лазурь; то был бы истинный рай, но для этого не хватало вечности – блаженные мгновения быстротечны.

Потом Христиана разрешилась мальчиком, который теперь, как мы видели, мирно дремал в почтовой карете. Врач предупредил родителей, что для здоровья их ребенка было бы благоразумнее перебраться в края с более умеренным климатом прежде наступления знойного лета. Таким образом, Юлиусу и Христиане не оставалось ничего иного, как без промедления возвратиться на родину. Сойдя с корабля в Триесте, они не спеша проехали через Линц и Вюрцбург. Но, прежде чем отправиться во Франкфурт, им захотелось заехать в Ландек. Разумеется, там они начали с того, что посетили кладбище.

На могиле отца Христиана помолилась и поплакала. Потом ей захотелось увидеть пасторский дом, но оказалось, что там уже обосновался преемник Шрайбера. Ее потрясла встреча с этим домом, где жила она и где теперь поселились чужие люди. Родной дом, стены которого хранили часть ее сердца, ее жизни, ее грез, теперь отдал все это во власть посторонних. Их шаги и голоса грубо врывались в заповедный мир воспоминаний Христианы. Ей стало очень больно. Больнее, чем было на кладбище. Здесь она горше, чем над могильным холмом, ощутила, что отца больше нет на свете.

Юлиус поспешил увести ее оттуда.

Тринадцать месяцев супружества, казалось, нисколько не остудили любовь Юлиуса к Христиане. Когда он смотрел на нее, в его взгляде если и не пылала жгучая страсть, свойственная пламенным натурам, то светилась вся та проникновенная нежность, на какую способны преданные души. Это был муж, безусловно сохранивший в сердце чувства любовника.

Пытаясь отвлечь свою опечаленную любимую жену от недавних горестных впечатлений, он старался пробудить в ней интерес к ландшафтам долины, через которую они проезжали: эти картины навевали им столько воспоминаний!

И тут же он показывал ей только что проснувшегося малыша, смотревшего на мать со смутным удивлением, жмуря сонные глазенки.

Взяв дитя из рук кормилицы, он протянул это хрупкое создание Христиане:

– Видишь, я совсем не ревнив. Вот он, мой соперник, а я своими руками подношу его тебе, чтобы ты его поцеловала. Да, отныне у меня появился соперник. Всего два месяца назад я был единственным, кого ты любила. А теперь нас двое. Ты поделила свое сердце на двоих, и я не уверен, что большая половина досталась мне.

Говоря так, он и сам целовал ребенка, улыбался ему, тормошил, стараясь рассмешить.

Христиана тоже улыбнулась, с трудом подавляя грусть, чтобы вознаградить Юлиуса за его усилия утешить ее.

– Однако, – сказал Юлиус, пытаясь вовлечь ее в разговор, – по-моему, где-то здесь должны уже появиться руины Эбербаха?

– Сейчас мы будем их проезжать, – отозвалась она.

Преемник пастора Шрайбера, когда они обменялись с ним несколькими фразами, предположил, что они сейчас направляются в Эбербахский замок. Когда они ответили отрицательно, он поинтересовался, когда же они туда поедут.

– А зачем? – спросил Юлиус.

На этот вопрос, заметно его удививший, пастор не стал отвечать, но посоветовал им хотя бы проехать мимо развалин. Не понимая, что он хотел этим сказать, Юлиус тем не менее подумал, что такая поездка может развеять подавленное настроение Христианы, и приказал вознице ехать в сторону Адской Бездны.

Карета проехала крутой поворот, и у Юлиуса вдруг вырвался изумленный вскрик.

– Что такое? – рассеянно пробормотала Христиана.

– Погляди туда, вверх! – воскликнул он. – Или я ошибаюсь? Мне представлялось, что развалины Эбербаха должны быть именно здесь.

– И что же? – спросила молодая женщина, с трудом отрываясь от поглотивших ее мыслей.

– Помнишь, как я рассказывал тебе о своей мечте, когда мы с тобой бродили среди этих руин?

– Да, ты говорил, что хорошо бы отстроить этот замок.

– Так вот же она, наша мечта! Стоит!

– Как странно! – отвечала Христиана, удивленная не меньше мужа.

В самом деле, на том месте, где прежде были три полуразрушенные, шаткие, изъеденные временем стены, они увидели вполне законченный замок, венчающий собою скалу, дерзко и величаво возвышаясь над пропастью и словно бы устремляясь к небесам.

Главная башня замка, представшего их взору, была четырехугольной, и по всем четырем углам ее обрамляли круглые башенки. Одну из них путникам было видно целиком, а три другие проглядывали только своими остроконечными кровлями. Все прочие подробности скрывала пышная молодая зелень древесных крон.

– Если ты не против, Христиана, – сказал Юлиус, – мне бы хотелось знать, кто этот волшебник, которому пришла фантазия осуществить наши грезы. Знаешь, меня разбирает любопытство.

– Так зайдем туда, – согласилась Христиана.

Карета как раз подъехала к главным воротам, зияющим в крепостной стене, словно широкая брешь, сквозь которую глазу открывалась дорога, спиралью поднимающаяся к замку. Юлиус приказал кучеру остановиться. Лакей прыгнул с запяток и позвонил.

К воротам примыкали два маленьких павильона в ренессансном стиле. Из того, что находился справа, вышел привратник и отпер ворота.

– Кому принадлежит этот замок? – спросил Юлиус.

– Виконту фон Эбербаху.

– Он дома?

– Нет, – отвечал привратник, – он путешествует.

– А можно осмотреть замок?

– Я должен пойти испросить на это позволение, сударь.

Привратник пошел к замку, а Юлиус стал жадно и ревниво разглядывать это благородное строение, так быстро, словно по волшебству выросшее из земли. Аллею, поднимающуюся в гору, образовывали старые деревья леса, находившегося здесь прежде: вырубив лишнее, архитектор оставил просторную лужайку между двумя двойными рядами этих громадных деревьев. Утопающая в высокой траве, лужайка напоминала волнующееся море зелени и цветов.

Наверху эту аллею увенчивал блистательный фасад замка. С другой стороны, очевидно выходящей на Адскую Бездну, замок должен был выглядеть суровым, неприступным и надменным, как сама пропасть, над которой он нависал с вершины скалистого пика. Зато при взгляде с лужайки он выглядел приветливым и мирным. Вкрапления красного песчаника в облицовке стен смягчали сухую меловую белизну, обыкновенно присущую новым постройкам. Оконные проемы были обведены легким узором из каменных листьев, множества птичьих гнезд и птиц, порхающих над арками стрельчатых окон. Однако и настоящие живые птицы уже начали вить свои гнезда в каменных углублениях барельефов, так что, слыша пение и чириканье, доносящиеся оттуда, уже трудно было разобрать, из каких гнезд – моховых или каменных – доносятся птичьи голоса. Вся эта листва трепетала и волновалась при каждом вздохе ветерка, и Юлиусу положительно казалось, будто очаровательный резной щегол машет своими каменными перьями.

Привратник вернулся и предложил им войти.

Юлиус предложил руку Христиане; молодая женщина оперлась на нее, а кормилица с младенцем на руках последовала за ними.

Пройдя аллею, они вступили на широкую каменную террасу с балюстрадой, балясины которой были вырезаны в форме трилистника; над ней во второй стене оказались большие дубовые стрельчатые ворота с коваными шляпками гвоздей. Потом они прошли через еще одни двери и несколько крытых галерей, и наконец привратник ввел их в покои замка.

Едва переступив порог, они почувствовали себя так, будто из настоящего внезапно перенеслись в прошлое. В расположении и меблировке зал ожили средние века. Каждая зала

была украшена по-своему. Одна служила оружейной, другая вся утопала в коврах и гобеленах. Третья была сплошь уставлена сундуками, переполненными огромными кубками, братинами и чашами. Еще одна представляла собой восхитительный музей, где ласкали взор дивные полотна Гольбейна, Альбрехта Дюрера и Луки Лейденского. В часовню дневной свет проникал сквозь яркую живопись старинных витражей. Какой утонченный художник, какой археолог с душой поэта, наделенный даром творческого ясновидения и точным знанием опытного антиквара, в 1811 году умудрился предугадать увлечение готикой, вспыхнувшее в 1830-м, и с таким совершенством возродил дух минувших веков? Юлиус был вне себя от удивления и восторга. Перед ним была безупречная имитация стиля пяти столетий, от двенадцатого до шестнадцатого.

В глубине залы, где была представлена коллекция оружия, Юлиус увидел запертую дверь. Он попросил привратника отпереть ее.

— У меня нет ключа от внутренних покоев, — отвечал привратник.

Но в это самое мгновение дверь отворилась и чей-то голос произнес:

— Зато у меня он есть.

То был голос барона фон Гермелинфельда.

XXVII

Для кого был выстроен замок

Барон раскрыл объятия своему сыну и дочери, и они кинулись к нему на шею.

Первым чувством, которое ощутили барон, Юлиус и Христиана при этой встрече, была радость. Но затем его сменило изумление.

Каким образом барон попал сюда, почему у него оказались ключи от замка? Но и барон был не менее озадачен. Он не ожидал, что сын прибудет так скоро. Желая сделать отцу сюрприз, Юлиус не предупредил его о своем приезде. Барон уже давно не получал известий от этой дорогой его сердцу семьи. В последнем письме, которое ему прислал Юлиус, сообщалось о том, что Христиана разрешилась от бремени.

Поэтому вслед за первыми объятиями и поцелуями потянулась целая череда вопросов. Барон нашел Христиану удивительно свежей и белокожей – благодаря любовным заботам Юлиуса она нисколько не загорела даже в том солнечном краю, так неусыпно муж следил, чтобы она все время была в тени. Но кто привел его в особенный восторг, так это внук. Дед без конца ласкал его и благодарил Христиану за то, что она назвала мальчика в его честь – Вильгельмом. Мальчик еще не был крещен: эту церемонию решили отложить до возвращения на родину, чтобы барон мог стать его крестным отцом.

Потом настала очередь путешественников, и теперь уже они осыпали барона вопросами:

– Но как это так получилось, отец, что вы живете в замке виконта фон Эбербаха словно у себя дома?

– Ба! – отвечал барон. – Виконт фон Эбербах мой самый близкий друг.

– Однако прежде я никогда не слышал, чтобы вы упоминали о нем, отец. Мне казалось даже, что род Эбербахов угас.

– Ну, коль скоро вы находитесь в их замке, это лучшее доказательство, что хотя бы один фон Эбербах все-таки существует. А доказательством, что мы с ним хорошо знакомы, послужит то, что, если вам угодно, я готов в его отсутствие принять вас здесь как дорогих гостей.

Они вошли в комнату, из дверей которой появился барон, и после парадных зал стали осматривать внутренние покои. Их убранство соединяло в себе все великолепие готики и весь современный комфорт. Они были достаточно обширны, чтобы сохранять прохладу в летний зной, и достаточно утеплены, чтобы оставаться уютными в зимнюю стужу. Притом повсюду были печи, наполняющие покои жаром огня, и камины, озаряющие их сиянием пламени.

Виды из окон замка открывались изумительные. Оконные рамы служили обрамлением самым прекрасным и к тому же разнообразным пейзажам, какие только можно вообразить. Одни окна выходили на речные излучины, из других взгляду открывались горы. На одном из таких горных пейзажей Христиана заметила хижину Гретхен. Но и хижина, подобно развалинам, была отстроена заново. Чудесному архитектору, сумевшему в столь краткий срок возродить из праха отшумевших веков этот огромный замок, не стоило большого труда превратить ее в хорошенький домик.

– Гретхен! – вскричала Христиана. – Мне бы хотелось повидать ее.

– Так надо просто за ней послать, – сказал Юлиус.

– Сейчас она наверняка в лесу со своими козами, – возразил барон. – Как только она вернется, ей сообщат о вашем приезде.

Наконец, когда они уже почти все осмотрели, барон отпер последние две комнаты. В одной гости увидели резную дубовую кровать с пологом из алого дамаста, в другой –

ложе, украшенное инкрустациями, под розовым шелковым балдахином. Между этими двумя спальнями находились библиотека, рабочий кабинет, отделанный строго и с большим вкусом, с окнами, откуда были видны горы, и чудесная уютная молельня с видом на Неккар.

Юлиус вздохнул. Он не мог удержаться от горькой мысли, что эти две комнаты словно нарочно созданы для них с Христианой. Увы! Некто более удачливый исполнил его желание и похитил его мечту.

Заметив его печаль, барон улыбнулся:

– У тебя такой вид, будто ты завидуешь владельцу этого замка.

– Я не завидую, я рад за него.

– Так ты считаешь, что здесь можно быть счастливым?

– Более, чем где бы то ни было.

– Значит, ты убежден, что если бы ты жил здесь вместе со своей женой и сыном, ты ни о чем бы не сожалел, ничего более не желал?

– Какие еще могут быть желания и сожаления?

– Если так, что ж, мой милый Юлиус, что ж, моя нежная Христиана, будьте счастливы! Вы у себя дома.

– Что? Что такое? – залепетал Юлиус вне себя от радости. – Неужели этот прекрасный замок...

– Он принадлежит вам.

– Однако, – возразил Юлиус, не смея верить в реальность того, что только что услышал, – как же виконт фон Эбербах?..

– Это ты и есть! В нынешний Новый год его величество король Пруссии, вручая мне орден «За заслуги» первой степени, соизволил присовокупить к нему титул графа фон Эбербаха и учредил майорат из этого замка вместе с окрестными лугами и лесами. Они теперь тоже твои.

– Мой дорогой отец!

Затем последовали новые объятия и поцелуи.

– Как нам благодарить вас? – прошептала Христиана.

– Будьте счастливы, – сказал барон, – это все, о чем я вас прошу. И я, право, заслуживаю, чтобы вы прислушались к моей просьбе. Потому что это, знаете ли, было совсем не так просто – меньше чем за год довести до конца подобное строительство. Но мне очень хотелось приготовить сюрприз. Архитектор оказался настоящим чудесником. Поначалу я в нем сомневался. Он предложил мне чертежи строения в греко-римском стиле, которое довольно плохо смотрелось бы на фундаменте времен Барбароссы. Но потом ему, видимо, посчастливилось найти в библиотеке Гейдельберга подлинный план этого древнего замка. Затем он отыскал какого-то молодого человека, глубокого знатока античности, который с большим воодушевлением отнесся к замыслу этого строительства.

У него были знания, у меня – деньги, так что дело пошло на лад настолько хорошо, что просто лучше не бывает. Ведь здесь меблировка, дверные запоры, каминные щипцы, всё до последней мелочи, соответствует средневековым образцам, не правда ли? Нам еще предстоит как-нибудь отблагодарить этого нежданного помощника за его шедевр.

И можешь себе представить, до сих пор я его еще ни разу не видел! Занятый собственными делами, я лишь время от времени мог приходить сюда, чтобы взглянуть, как продвигаются работы. Притом мне упорно не везло: когда бы я ни приходил, всегда оказывалось, что он только сейчас отбыл. В конце концов, это и к лучшему. Прежде чем превозносить его, как он того заслуживает, мне хотелось узнать и ваше мнение о его работе. Зато уж теперь, когда вы здесь, мы его пригласим и устроим пир в его честь.

– Однако, – сказала Христиана, – вы, должно быть, совсем разорились.

– Должен признаться, – весело заметил барон, – что ваша радость интересовала меня больше, чем состояние моего кошелька, а он после всех этих безумств совсем опустел. Рвение моих архитекторов с каждым днем возрастало, а поскольку все их расходы были трижды оправданы надобностью соблюсти историческую достоверность, требованиями искусства и запросами моего собственного сердца, я предоставил им полную свободу действий. По счастью, я нашел деятельного пособника в моей расточительности, так что теперь, дети мои, вам, кроме меня, есть и кого благодарить, и кого порицать.

XXVIII

Назло кому был выстроен замок

– Кому же еще, отец, мы обязаны этим чудом архитектуры, столь же величавым, сколь стремительно возникшим?

– Твоему дядюшке Фрицу, Юлиус, – отвечал барон. – Послушай, я тебе прочту пассаж из его письма, которое я получил из Нью-Йорка два месяца назад:

«... Мой капитал полностью в твоём распоряжении, мой дорогой и прославленный брат. У меня нет других детей, кроме твоего сына Юлиуса. Позволь же мне наравне с тобой внести свой вклад в тот дар, что ты для него готовишь. К этому письму я прилагаю вексель на пятьсот тысяч талеров на франкфуртский банкирский дом Браубаха. Если этой суммы окажется недостаточно, в случае нужды бери кредит на мое имя, только извести меня заранее – не менее чем за месяц.

Я горд и счастлив, Вильгельм, что могу внести эту чисто материальную лепту во славу нашего дома. Таким образом мы с тобой до конца исполним волю нашего незабвенного родителя. Но моя доля скромнее: я всего лишь обогатил нашу семью, ты же сделал ее знаменитой.

Ты пишешь, что мне бы надо отдохнуть. Правда, я немного устал. Но сейчас я как раз навожу порядок в моих делах. На это потребуется год, после чего наше состояние будет избавлено от всех долгов. К тому времени оно достигнет пяти миллионов франков, не считая той суммы, что я посылаю тебе. Как ты полагаешь, нам хватит? Если ты скажешь “да”, по истечении этого года я вернусь к тебе, в нашу старую Европу, в милую нашу Германию. Оставь и для меня уголок в этом замке, который ты строишь. Мне бы не хотелось умереть, не обняв тебя, не поцеловав Юлиуса...»

– Дорогой дядюшка! – воскликнул Юлиус. – Как мы все будем ему рады, какой любовью мы его окружим!

– Как видишь, Юлиус, только благодаря ему я смог основать этот майорат и вовремя закончить строительство замка...

– ...замка, где мы сможем с этим состоянием, достойным князей, вести жизнь истинных бургграфов! – весело подхватил Юлиус. – Заведем собственное войско, у бойниц расставим часовых, а при надобности даже сможем выдержать осаду неприятеля.

– Не смейся! – остановил его барон. – У нас действительно есть враг, назло которому и был выстроен этот замок.

– Что такое? Какой враг?

– Самуил Гельб.

– Самуил Гельб? – расхохотался Юлиус.

– Повторяю тебе, что я говорю вполне серьезно, – сказал барон.

– Но я не понимаю, отец, что вы имеете в виду?

– Ты ведь уверял меня, Юлиус, что здесь ты не станешь ни о чем сожалеть и ничего более не пожелаешь, как мирно жить под этим кровом в кругу близких. Именно надеясь на это, сын мой, я и взялся построить тебе замок. Я хотел создать тебе такую счастливую и полную жизнь, чтобы никто больше не был тебе нужен. Скажи мне теперь, что я этого достиг, и обещаю, что никогда более не увидишь Самуила.

Юлиус молчал.

Сколько бы нежности и почтения ни испытывал он к своему отцу, молодой человек, услышав подобное заявление, все же почувствовал себя втайне униженным и задетым. Разве

он все еще дитя неразумное, что отец до такой степени опасается, как бы вдруг на него не повлияла какая-то иная воля, кроме его собственной? Самуил – отличный товарищ, остроумный, ученый, полный энергии. Юлиусу его очень не доставало, даже среди очарований свадебного путешествия он в глубине души не раз признавался себе в этом. Если кто-то из них двоих когда-нибудь и был не прав перед другим, то не Самуил, а он сам. Ведь это он женился, даже не уведомив об этом старинного друга. А потом еще исчез на целый год, скрылся и ни разу не подал другу вести о себе.

– Ты мне не отвечаешь? – сказал барон.

– Но под каким предлогом, отец, я мог бы закрыть свои двери перед товарищем моих детских игр? – наконец заговорил Юлиус. – Перед другом, которого мне в конечном счете не в чем упрекнуть, не считая разве что кое-каких парадоксальных теорий?

– Я не прошу тебя закрыть перед ним двери, Юлиус. Просто не пиши ему, не зови к себе. Это все, о чем я тебя прошу. Самуил слишком горд, чтобы явиться без приглашения. Вот уже год, как он сам порвал со мной, прислав крайне дерзкое письмо. С тех пор я даже не слышал о нем ничего.

– Если я и увижусь с ним, – продолжал Юлиус, – вспомни, ведь я уже не восьмилетний мальчишка, способный слепо идти на поводу у кого бы то ни было. Будь Самуил даже настолько плох, как тебе кажется, я ведь достиг достаточно зрелого возраста, чтобы отличить в нем хорошее от дурного. По крайней мере, я так полагаю!

С необычной торжественностью барон отвечал:

– Юлиус, ты веришь, что я всем сердцем люблю тебя, не правда ли? И надеюсь, ты не считаешь меня человеком, способным из детского упрямства отдаться во власть глупого каприза? Так вот, Юлиус, я тебя прошу, я заклинаю тебя не видеться больше с Самуилом. Подумай о том, что моя просьба, моя мольба не может не иметь под собою важных оснований. У меня нет возможности остаться подле вас более чем на несколько дней, мне пора возвращаться в Берлин. Не дай же мне уехать отсюда с тяжелой заботой на душе. Нет, я говорю с тобой так не из мелочного раздражения против Самуила или несправедливого недоверия к тебе. У меня есть на то причины куда более серьезные. Доверься же хоть немного жизненному опыту и любви твоего отца. Успокой меня, обещаю, что не станешь писать Самуилу. Не правда ли, Христиана, вы тоже хотите, чтобы он мне это пообещал?

Христиана, которая внимала речи барона побледнев и вся трепеща, теперь приблизилась к Юлиусу, ласково положила руки ему на плечи и голосом, полным нежной мольбы, произнесла:

– О, я даю слово, что мне в этом чудном дворце никого не нужно, только бы со мной был мой маленький Вильгельм, только бы мой Юлиус любил меня. А у тебя, Юлиус, кроме меня, есть еще твой отец!

– Ну вот, и ты туда же, Христиана! – вздохнул Юлиус. – Что ж, если и ты этого хочешь, и раз вы оба настаиваете на своем, так и быть, я не стану писать Самуилу.

– Благодарю тебя! – сказала Христиана.

– Благодарю! – повторил барон. – Ну, а теперь вам остается только разместиться в своем новом доме.

Вторая половина дня прошла в хлопотах: молодые хозяева осваивали замок и занимались устройством той новой жизни, которую они хотели в нем вести.

Лотарио, о чьих делах Христиана с чисто материнской заботливостью уже успела справиться, в настоящее время не мог оторваться от занятий, которые пастор Готфрид проводил с ним так же, как с собственными внуками. Однако через месяц, даже раньше, он придет на каникулы в замок своей сестрицы Христианы.

Слуги, заблаговременно нанятые бароном, уже все были на своих местах. После обеда вновь прибывшие совершили прогулку под сенью деревьев своего парка. К счастью привы-

каешь быстро, и не успел еще наступить вечер, а им уж казалось, что они всегда жили в этом дворце.

Христиана, уставшая с дороги, вернулась домой рано, да и барон с Юлиусом вскоре последовали ее примеру.

Прежде чем войти к себе в спальню, Юлиус мимоходом заглянул в библиотеку. На резных дубовых полках стояли книги – драгоценная, превосходно подобранная коллекция в роскошных переплетах, украшенных его гербами. Но что его особенно поразило, так это подбор книг. Кто же мог так безошибочно угадать его вкусы, чтобы ни в чем ни разу не ошибиться? Казалось, будто он сам собственноручно составил каталог этой библиотеки: не было ни одного названия, которое ему бы захотелось вычеркнуть либо вписать. Самуил, знавший все его склонности и пристрастия, зачастую им же самим внушенные, и тот не сумел бы сделать лучше.

Юлиус приостановился, задумавшись об этом, и вдруг почувствовал, что на плечо ему легла чья-то рука.

Он вздрогнул: ведь дверь была закрыта, и он не слышал, чтобы кто-нибудь ее открывал!

Резко обернувшись, он увидел перед собой Самуила Гельба.

– Ну что, как мой дорогой Юлиус провел этот год? Путешествие было удачным?

– Самуил! – вскричал Юлиус, одновременно изумленный и очарованный этим новым сюрпризом. – Самуил! Но как ты здесь оказался?

– Черт возьми! – сказал Самуил. – Да очень просто: я здесь живу.

XXIX

Неприятель проник в крепость

Была ли то интуиция, предчувствие или смутный страх, что порой овладевает женщинами? Бог весть! Только Христиане было как-то не по себе в этом прекрасном, величественном замке. Ей казалось, будто над ней нависла неведомая угроза, опасность, подстерегающая на каждом шагу. Кому она грозила – ей самой, Юлиусу? Какая разница? Было так жаль их мирного уединения, полного любви и ласки, на счастливом, благоуханном острове, где заботы и страсти человеческие ни на единый миг не смущали их покоя! А между тем, казалось, в их жизни и теперь ничто не изменилось. Муж по-прежнему любит ее, она все так же боготворит свое дитя. Чего еще желать? И чего бояться?

Через несколько дней барон фон Гермелинфельд должен был возвратиться в Берлин. Туда его призывал долг: пора было приниматься за прерванные труды. Но прежде чем покинуть замок, он с глазу на глаз сказал Христиане:

– Мое дорогое дитя, это правда, что я уже тринадцать месяцев как не видел Самуила Гельба. Но также верно и то, что все эти месяцы он не выходил у меня из головы. С самого вашего отъезда не было дня, чтобы он не вставал перед моим мысленным взором. Это навязание упорно не желает меня покинуть, кажется даже, что его дерзкий вызов, брошенный тебе, отпечатывается в моей памяти все глубже. Тем не менее пока будем смотреть на его поведение лишь как на безрассудную браваду. Но, Христиана, если все обернется иначе, если твой враг рискнет явиться сюда, вспомни, моя девочка, что в этой борьбе я твой союзник и секундант. Позови меня, и я тотчас примчусь.

Это обещание успокоило Христиану лишь отчасти. Ей хотелось расспросить Гретхен, узнать, приходилось ли ей еще сталкиваться с Самуилом после той встречи среди развалин. Но Гретхен отвечала на ее вопросы уклончиво, с какой-то странной рассеянностью.

Надобно сказать, что маленькая пастушка, хотя по-прежнему была ей предана, показала Христиане, пожалуй, еще более дикой, чем раньше. После смерти г-на Шрайбера и отъезда Христианы у Гретхен не осталось точек соприкосновения с человеческим обществом, и она целиком погрузилась в свои беседы с растениями и животными. Заманить ее в замок оказалось еще труднее, чем убедить поселиться в доме священника. Даже собственную хижину она невзлюбила с тех пор, как ее обновили: теперь она казалась ей слишком красивой, чересчур похожей на деревенские домики, к тому же Гретхен не нравилось, что ее построили так близко к замку. Она забиралась со своим стадом высоко в горы и иногда по нескольку дней не возвращалась к себе.

Так и вышло, что пришлось Христиане самой разбираться в своих дурных предчувствиях, вдвойне мучительных из-за того, что они были столь темны и необъяснимы. Может ли быть что-нибудь в мире страшнее неизвестности? И, что особенно горько для любящего сердца, Юлиус был последним, кому она могла бы открыть свои опасения.

Ей уже и без того было достаточно больно видеть, какой протест вызвала у Юлиуса просьба отца относительно Самуила, с каким явным сожалением он подчинился. Значит, ему мало ее любви? Она не является для него всем, что есть в мире дорогого? И то отражение, которое она с первых дней их знакомства выказывала Самуилу, стало быть, вовсе не передалось Юлиусу и он продолжает питать к нему прежнюю слабость?

Как бы то ни было, Христиана вскоре поддалась утешительным внушениям любви, которая, как известно, очень изобретательна там, где требуется подыскать оправдание любимому. Молодая женщина решила, что упорство Юлиуса объясняется естественной досадой взрослого мужчины, обиженного подозрением в безволии, в жалкой зависимости от постороннего влияния. Ну, конечно же, все дело в этом: не Самуила Гельба он отстаивал, а свое

собственное самолюбие! Христиана кончила тем, что признала справедливость его слов и поступков, сказав себе, что на его месте она и сама бы действовала так же.

Впрочем, у нее было одно неизменное утешение, одно прибежище – ее дитя. У колыбели Вильгельма Христиана забывала обо всем. Невозможно вообразить зрелище более чарующее и вместе с тем трогательное, чем эта девочка-мать с младенцем на руках, этот нераспустившийся бутон близ цветка, едва успевшего раскрыть свои лепестки. Когда с ней не было ее ребенка, Христиану трудно было принять за замужнюю женщину: она сохранила всю робкую грацию и простодушие девичества. Но когда она смотрела на свое дитя, свою радость, своего младенца Иисуса, когда она его нежила и качала на руках, вся мудрость и прелесть материнства сияла в ее чертах.

Ее сильно печалило, что она не может сама кормить грудью своего обожаемого первенца. Врачи в один голос твердили, что она слишком юна и хрупка, и Юлиус верил их настояниям. О, если бы они доверились ее материнской интуиции, у нее нашлось бы довольно сил! Она погибала от зависти к кормилице, впрочем, не переставая окружать ее самой усердной заботой, но втайне ненавидя эту женщину, словно свою соперницу. Почему ее, Христиану, принуждают уступать этой чужой, дородной и тупой крестьянке самое сладостное из своих материнских прав? С какой стати эта посторонняя кормит своим молоком ее дитя? Когда кормилица давала Вильгельму грудь, Христиана устремляла на нее взгляд, полный ревнивой печали: она согласилась бы пожертвовать годами жизни, только бы самой стать для этих драгоценных уст источником живительной влаги.

Но уж, по крайней мере за исключением молока, эта юная шестнадцатилетняя мать отдавала сыну все: свои дни и ночи, свою душу и сердце, все свое существо. Она сама купала его, пеленала, укачивала, пела ему и укладывала его спать. К ее безмерной радости, он начал уже узнавать ее, узнавать раньше, чем кормилицу, которой мать уступала его только на время кормления. Она требовала, чтобы его колыбель постоянно находилась подле ее ложа. Кровать кормилицы каждый вечер ставили там же, в спальне Христианы. Таким образом, мать могла без помех ловить каждое движение, каждый вскрик, каждое дыхание своего малыша.

Когда случалось, что молодая женщина вспоминала о Самуиле, держа ребенка на руках, она чувствовала себя защищенной его близостью. Неведомая угроза, исходившая от этой мрачной и враждебной фигуры, таяла в ее мозгу, отступая перед лучистым светом материнской любви, как ночные потемки рассеиваются при восходе солнца.

Однажды рано утром Юлиус, войдя к Христиане, нашел ее сидящей у колыбели, которую она мягко покачивала легким равномерным движением руки. Она приложила палец к губам, призывая его хранить молчание, подставила лоб для поцелуя и указала ему на низенький стул рядом с ее собственным. Потом она вполголоса объяснила:

– Я в тревоге. Вильгельм дурно спал, плакал, ворочался. Не пойму, что с ним. Он только сейчас уснул. Говори тихо.

– Ты изводишь себя по пустякам, – отвечал Юлиус. – Наш херувимчик сегодня выглядит еще розовее и свежее, чем всегда.

– Да, ты так думаешь? Возможно, ты и прав. Но когда дело касается его, я становлюсь ужасно боязливой.

Ласковым движением левой руки она привлекла к себе мужа и положила его голову к себе на плечо, но правой все же продолжала качать колыбель.

– Мне так хорошо между вами двумя, моими любимыми! – вздохнула она. – Наверное, если бы пришлось лишиться даже одного из двоих, я бы просто умерла.

– Ах, так, сударыня! – заметил Юлиус, покачивая головой. – Стало быть, вы сами признаете, что я теперь владею не более чем половиной вашего сердца?

– Неблагодарный! Да разве он не частица тебя самого?

– Посмотри, он же уснул, – продолжал Юлиус. – Ну, повернись, взгляни на меня, побудь хоть минуту безраздельно моей!

– О, что ты, нельзя! Он должен все время чувствовать, что его укачивают.

– Что ж, скажи кормилице или Веронике, пусть они его покачают.

– Нет, сударь, ему необходимо чувствовать, что его качают именно я.

– Вот еще, что за глупости!

– Попробуй и убедись сам.

Она на мгновение оставила колыбель, и Юлиус принялся качать ее сам, бережно, как мог. Но ребенок тотчас проснулся и захныкал.

– Ну, видишь? – воскликнула, торжествуя, Христиана.

Через полчаса, слегка утомленный этим разговором, полным умиленного воркования и ребячества, Юлиус отправился к себе. Но не прошло и двадцати минут, как Христиана вбежала к нему, охваченная беспокойством:

– Ребенок заболел, в этом уже нет сомнения! Он не берет грудь, плачет, кричит так жалобно! И потом, мне кажется, у него начинается лихорадка. Мой милый Юлиус, надо сейчас же послать за врачом!

– Разумеется, – сказал Юлиус, – но, по-моему, в Ландеке нет врача.

– Так пусть лакей сядет на коня и поспешит в Неккарштейнах. За два часа он успеет и добраться туда, и вернуться. Я пойду сама распоряджусь.

Она спустилась, дала слуге все нужные указания, удостоверилась, что он отправился в путь без промедления и поднялась к себе.

Юлиуса она нашла в своей спальне, у колыбели. Младенец продолжал кричать.

– Ему не стало лучше? Боже милостивый! Хоть бы врач скорее приехал!

– Полно, наберемся терпения, – сказал Юлиус.

В это мгновение дверь распахнулась и в спальню быстрыми шагами, казалось не сомневаясь, что здесь его ждут, вошел Самуил Гельб.

– Господин Самуил! – вскрикнула пораженная Христиана.

XXX

Самуил в роли врача

Самуил чопорно поклонился Христиане. Юлиус – странное дело! – не выразил при виде его ни малейшего удивления, шагнул навстречу гостю и пожал ему руку.

– Ты знаешь толк в медицине, – сказал он. – Посмотри-ка нашего бедного малыша, он, кажется, болен.

Самуил, ни слова не говоря, осмотрел ребенка, потом, оглядевшись вокруг, заметил кормилицу, подошел и пощупал ей пульс.

– Позвольте, сударь, – сказала Христиана, в душе которой беспокойство за сына уже вполне взяло верх над прочими опасениями, – ведь кормилица не больна, это мой ребенок болен.

– Сударыня, – с холодной учтивостью возразил он, продолжая приглядываться к кормилице, – если мать не замечает ничего, кроме своего ребенка, то врач обязан найти причину недуга. Болезнь вашего ребенка не что иное, как следствие недомогания его кормилицы. Бедный мальчик голоден, только и всего: эта женщина более не в состоянии кормить его как следует. Не знаю, что тому виной, возможно, перемена климата, образа жизни, тоска по родине, как бы то ни было, ее молоко испорчено. Кормилицу следует немедленно заменить.

– Заменить? – пролепетала Христиана. – Но кем?

– Неужели по соседству не найдется какой-нибудь кормилицы?

– Боже мой, не знаю... О, какая же я непредусмотрительная мать! Или, по меньшей мере, неопытная... Не сердитесь на меня за это, сударь, я так растеряна...

Ребенок опять зашелся в жалобном крике.

– Не стоит волноваться, сударыня, – произнес Самуил тем же тоном ледяной вежливости. – Ребенок здоров, его жизнь вне опасности. А сделать вы можете вот что. Выберите себе вместо кормилицы одну из молодых козочек, которых пасет Гретхен.

– Вильгельм от этого не заболит?

– Он будет чувствовать себя превосходно. Только, начав кормить его козьим молоком, продолжайте поступать так. Если слишком часто менять кормилиц, это может вызвать у младенца расстройство желудка. К тому же коза как кормилица имеет то преимущество, что она не станет тосковать по родной Греции.

Юлиус тотчас послал за Гретхен, и та не замедлила появиться.

При виде Самуила она тоже не выказала ни малейшего удивления. Христиана, внимательно глядевшая на нее, заметила только, как сумрачная улыбка скользнула по ее губам.

Впрочем, она повеселела, узнав, что отныне одна из ее коз будет кормить маленького Вильгельма. У нее, говорила она, как раз есть молодая крепкая козочка, дающая прекрасное молоко. Пастушка тотчас побежала за ней.

Во время ее отсутствия Самуил успел сказать Христиане еще несколько ободряющих фраз. Его манера держаться совершенно изменилась, хоть эти перемены, пожалуй, не внушали слишком большого доверия. Теперь в его обхождении сквозила почтительная, но ледяная сдержанность, сменившая его прежнее дерзкое и насмешливое высокомерие.

Гретхен возвратилась в сопровождении красивой козочки, белоснежной и чистенькой. Девушка заставила ее лечь на ковер, Христиана поднесла к ее вымени ребенка, и он стал жадно сосать.

От радости Христиана захлопала в ладоши.

– Вот мы и спасены! – с усмешкой сказал ей Самуил.

Христиана подняла на него взгляд, полный признательности, которую она даже не пыталась скрыть.

– Мне нравятся дети, – задумчиво проговорил этот странный человек. – Хотел бы, чтобы у меня был ребенок. Дети прелестны и свободны от тщеславия, они слабы и не ведают зла. Люблю детей: они еще не люди.

Он встал, словно бы собираясь уходить.

– Ты не позавтракаешь с нами? – спросил Юлиус.

– Нет, я не могу, – отвечал Самуил, глядя на Христиану.

Юлиус настаивал. Но Христиана не проронила ни слова. Прошрое, позабытое в порыве материнской тревоги и благодарности, ошло в ее памяти. Сейчас она была уже не только матерью, но и женщиной.

Самуил, по-видимому заметив упорное молчание Христианы, отвечал на уговоры Юлиуса все более сухо:

– Об этом не может быть и речи. Вели оседлать мне лошадь. Я тебе пришлю ее назад из Неккарштейна.

Наконец, Юлиус уступил и приказал подать коня. Перестав бояться, что Самуил останется, Христиана осмелела и почувствовала, что теперь может без опасений выразить ему свою благодарность. Когда слуга пришел сообщить, что лошадь готова, она даже пожелала вместе с Юлиусом проводить его до ворот и, прощаясь, поблагодарила еще раз.

Но навестить их снова она ему не предложила.

Когда он уже садился на лошадь, она шепотом спросила:

– Объясни мне, Юлиус, каким образом и почему господин Самуил Гельб мог оказаться у нас в доме?

– Черт возьми! – отвечал Юлиус. – Клянусь честью, что этого я и сам до сих пор не понял.

Самуил в это мгновение был уже в седле. Он отвесил им прощальный поклон и умчался галопом.

– Слава Богу, уехал! – прошептала Христиана словно бы с облегчением.

В эту самую минуту Гретхен, только что спустившись с горы со своей козочкой, как раз подошла к воротам. Услышав слова Христианы, цыганка покачала головой и, склонившись к ее уху, вполголоса произнесла:

– Ах, сударыня! Неужели вы верите, что он вправду уехал?

XXXI

Кто выстроил замок

В одно ясное летнее утро вскоре после описанных событий лучи солнца, восходящего над Эбербахским замком, озарили очаровательную сценку.

В десяти шагах от хижины Гретхен, выстроенной заново в виде хорошенького загородного домика, посреди искусственной зеленой лужайки, возникшей на широком каменном выступе, куда с этой целью завезли землю, на скамье под сенью нависающей над ними скалы сидели Христиана и Гретхен. У их ног расположилась белая козочка, которую с увлечением сосал прелестный полуголый младенец, лежащий на коврике, покрытом простынкой из тонкой белоснежной ткани. Коза жевала траву, пучки которой ей протягивала Гретхен, и, казалось, понимала, что ей надо пока лежать тихо, чтобы не мешать трапезе своего выкормыша. Христиана, вооружившись веточкой, отгоняла мух, от чьих укусов бело-розовый бок кроткого животного по временам слегка подрагивал.

Ребенок, насытившись, вскоре зажмурил глазки и уснул.

Тогда Христиана бережно, чтобы не разбудить, взяла его и уложила к себе на колени.

Коза, не чувствуя больше ответственности за малыша, вскочила на ноги, сделала несколько прыжков, чтобы размяться, и потрусила навстречу лани со сломанной ножкой, чья умная, чуткая головка только что показалась среди кустарника.

– Так вы говорите, сударыня, – спросила Гретхен, продолжая ранее начатый разговор, – что он вот так вдруг возьми да и появишься перед вами, а привратник и не видал, как он вошел?

– Да. Боюсь, ты была права, уверяя меня, что он тогда и подбирается всего ближе, когда думаешь, будто он далеко.

Гретхен помолчала, словно о чем-то задумавшись. Потом заговорила с тем странным возбуждением, что подчас было ей свойственно:

– О да, он воистину не человек, а демон! Вот уж год как я это поняла, а после того, что было потом, больше не сомневаюсь...

– Так ты все-таки встречала его за этот год? Значит, он приходил сюда? Говори же, умоляю! Ты ведь знаешь, как мне важно это знать.

Гретхен, по-видимому, колебалась. Но потом, решительно тряхнув головой и придвинувшись поближе к Христиане, зашептала:

– Соболаговолите побожиться, что не передадите господину барону то, что я вам сейчас открою! Побожитесь, тогда я смогу сказать и, может быть, вы будете спасены!

– Да к чему здесь клятвы?

– А вот послушайте. Когда вы уехали, через несколько дней моя раненая лань, которой все время было очень плохо, стала умирать. Все мои заботы были напрасны. Я прикладывала к ране целебные травы, возносила молитвы Пресвятой Деве – ничто не помогало. Она глядела на меня так грустно, будто упрекала, зачем я позволяю ей умереть. Я совсем отчаялась. И тут вижу, мимо моей хижины проходят какие-то чужаки, трое или четверо. Они шли к развалинам. Этот Самуил Гельб был с ними. Он поднял голову, заметил меня и на своих длинных крепких ногах в три прыжка забрался ко мне по склону. Я тогда пальцем показала ему на мою бедную лань, а она лежит совсем без сил. Ну, я ему и говорю:

«Палач!»

А он в ответ:

«Как, ты допустишь, чтобы твоя лань умерла? Ты же так хорошо разбираешься в травах!»

«Разве она может выжить?!» – вскричала я.

«Черт возьми, еще бы!»

«О, спасите же ее!»

Он уставился на меня, а потом говорит:

«Что ж, заключим сделку».

«Какую?»

«Я буду часто приезжать в Ландек, но хочу, чтобы никто об этом не знал. Дом священника я буду обходить стороной, чтобы господин Шрайбер меня не заметил. Но ты – дело другое, твоя хижина у самых развалин, избежать встреч с тобой мне не удастся. Обещай мне, что ты ни прямо, ни намеками не скажешь барону фон Гермелинфельду, что я бываю в здешних краях. Взамен я тебе обещаю, что вылечу твою лань».

«А если не сможете?»

«Тогда ты вольна говорить кому хочешь все что угодно».

Я хотела пообещать, но тут меня взяло сомнение. Тогда я говорю ему:

«Откуда мне знать: может, то, что вы здесь будете делать, во вред ближним в этом мире или погубит мою душу в том? Вы злое дело затеяли?»

«Нет», – отвечал он.

«Что ж, тогда я буду молчать».

«Стало быть, барон фон Гермелинфельд не узнает от тебя, что я здесь, в Ландеке? Ты обещаешь ни прямо, ни косвенно не сообщать ему об этом?»

«Обещаю».

«Отлично. А теперь подожди меня немного. Да вскипяти воду».

Он ушел, через несколько минут вернулся с травами, которых не захотел мне показать, и запарил их в кипятке.

Потом он обложил ими раненую ногу лани и туго запеленал куском полотна.

«Эту повязку снимешь не раньше чем через три дня. Лань твоя выздоровеет, хотя останется хромой. Только помни: начнешь болтать, я ее убью».

Вот почему, сударыня, я прошу вас не передавать моих слов господину барону, а то ведь получится, что я это ему сообщила окольным путем.

– Будь покойна, – сказала Христиана. – Даю тебе слово, что ничего ему не скажу. Но ты уж, пожалуйста, говори!

– Что ж, скажу. Сударыня, я вот что думаю. Этот замок, что вам подарил господин барон, замок, где вы теперь живете, – его на самом-то деле построил не кто иной, как господин Самуил.

Христиана содрогнулась. Она вспомнила, с какой непостижимой внезапностью Самуил проник в ее замок.

– Но как это возможно? – прошептала она.

– А кто еще, сударыня, кто бы, кроме самого дьявола, мог добиться, чтобы такой замок как из-под земли вырос меньше чем за год? Вы же сами видите, что это сущий демон! Будь он человеком, как вы и я, разве бы удалось ему, даже нагнав сюда толпу рабочих, всего за одиннадцать месяцев возродить к жизни мертвую пыль этих развалин? А поглядели бы, как он вел дело! Он был везде – и нигде. Он обосновался где-то поблизости, это ясно, ведь, бывало, чуть в нем какая нужда, минуты не пройдет, а он уж тут как тут. И вместе с тем ума не приложу, где оно, его жилье. Знаю только, что не в Ландеке, не в пасторском доме и не здесь... И при этом у него даже лошади не было!

Каким образом он здесь появляется? Никто не смог бы вам этого объяснить. Какая сила уносит его прочь? И это неведомо. Но всякий раз, когда господин барон приезжал поглядеть, как продвигается строительство, он исчезал. Господину барону даже и невдомек, что это не кто иной, как он, здесь всем заправлял, вот только зачем ему это, Бог весть... А как вышло, что господин Самуил ухитрился заставить архитектора так никому ничего и не сказать? И целыми днями все по горам рыскал, под предлогом, что он занимается ботаникой. Но это он

только так говорил! А потом он изрыл вдоль и поперек всю скалу, на которой замок поставлен, наделал уйму разных ходов и подземелий. Уж и не знаю, что он в них устроил. Вы, чего доброго, меня примете за помешанную, но однажды вечером я прилегла на траву, приложила ухо к земле, и право же, мне там, внизу, послышалось конское ржание!

– Ну, милая, это одна из твоих грез или волшебных сказок, – улыбнулась Христиана.

Но Гретхен упрямо продолжала:

– Если угодно, сударыня, у меня есть еще доказательство, оно еще вернее. Однажды он вдруг стал строить каменный фундамент в двух шагах от моей хижины. Я не могла понять, что все это значит. Но назавтра, так как его рабочие пугали моих коз, я на ранней заре погнала их, бедняжек, в горы и вернулась только поздно вечером. Моя хижина исчезла! На ее месте стояло это шале, полностью готовое и меблированное так, как вы видите. И после этого вы скажете, что здесь обошлось без колдовства?! Этот зловредный Самуил был тут же. Он сказал, что вся эта перестройка затеяна потому, что господин барон дал такое распоряжение архитектору. Но тут уж не важно, что да как, главное, все равно нельзя объяснить, какими судьбами можно было тут все закончить не больше чем за двенадцать часов. Так вот, сударыня, можете говорить что угодно, я и сама вижу, что моя новая хижина и удобнее, и, главное, крепче прежней, а мне все равно жаль той, потому что эта меня пугает. Мне все кажется, что я теперь живу в дьявольском строении и все тут не к добру.

– Это в самом деле странно, – заметила Христиана. – Я не разделяю твоих суеверных страхов, но мне тоже будет не по себе теперь, когда я узнала, что живу в доме, выстроенном господином Самуилом Гельбом. Но скажи мне вот что: со времени нашего отъезда, когда тебе случалось встречаться с ним, он продолжал тебе угрожать и говорить дерзости, как в тот раз?

– Нет, скорее он держался словно добрый покровитель. Он лучше меня знает свойства растений и их целебную силу, хотя не хочет верить в их душу, как я. Он мне часто советовал, чем лечить моих животных, когда они болели.

– Я вижу, ты все-таки несколько переменила к лучшему свое мнение о нем?

– Хотела бы, да не могу. Вот уже год как я не слышала от него ни единого злого слова. Даже напротив. Но цветы и травы продолжают твердить, что он несет погибель, погибель всем, кто мне дорог: господину виконту и вам. А цветы никогда меня не обманывали. Он теперь, верно, исподтишка ведет свою игру. Притворяется, будто больше не замышляет худого, чтобы вернее захватить нас врасплох. Стоит мне его увидеть, как в душе у меня вспыхивает прежний гнев, я ничего не в силах с собой поделать. Сколько ни стараюсь успокоиться, сколько ни вспоминаю разные услуги, что он мне оказывал, а чувствую, напрасно: все равно я его ненавижу. Но напрасно я все это вам говорю, да еще так громко. Поскольку он колдун, он непременно узнает и про то, что я вам все рассказала, и что я его ненавижу, и что...

– ... и что по части неблагодарности никто в мире не сравнится с матерями, – внезапно раздался позади молодых женщин спокойный голос Самуила Гельба.

Гретхен и Христиана, вздрогнув, обернулись. Из уст Христианы вырвался невольный вскрик. Вильгельм проснулся и заплакал.

Самуил устремил на Христиану суровый испытующий взгляд, в котором, однако, не было ни тени пренебрежения либо насмешки. В правой руке у него была белая фетровая шляпа, которую он только что снял, чтобы приветствовать женщин; в левой же было ружье. Черный бархатный редингот, застегнутый до подбородка, подчеркивал холодную бесстрастную бледность его лица.

Откуда он явился? Ведь позади скамьи, на которой сидели Христиана и Гретхен, висела отвесная скала футов в пятьдесят!

– Чего вы так испугались? – спокойно осведомился Самуил. – Смотрите, и ребенка разбудили, он из-за вас плачет.

Все еще дрожа, Гретхен спросила:

– Каким путем вы сюда попали? Откуда вышли?

– А в самом деле, сударь, каким образом вы здесь очутились? – произнесла Христиана.

XXXII

Оскорбление, нанесенное посредством цветов и ребенка

– Как очутился, сударыня? – усмехнулся Самуил на вопрос Христианы. – Уж не думаете ли вы вслед за Гретхен, что я и в самом деле вышел из преисподней? Увы, я не столь сверхъестествен и не наделен магическими способностями. Просто вы были так поглощены злословием в мой адрес, что не видели и не слышали, как я подошел. Только и всего.

Христиана, несколько оправившись, стала успокаивать Вильгельма, и он тут же снова задремал. А Самуил продолжал:

– Что ж, мой совет был не так уж плох? Насколько я вижу, Вильгельм чувствует себя лучше.

– Это правда, сударь, и за это я вам признательна от всего материнского сердца.

– А ты что скажешь, Гретхен? Ведь твоя лань умерла бы, если бы я ее не вылечил? А когда на твоих коз напала хворь, они бы почти все погибли, если бы не то превосходное средство, что я указал тебе.

– Все так! – вскричала Гретхен, яростно сверкая глазами. – Но вам-то кто открыл все эти секреты?

– Даже если, как ты полагаешь, то был сам Сатана, вам обоим следовало бы не только не злиться, но благоволить ко мне тем сильнее, если ради вас я сгубил свою душу. А вы, вместо этого, меня же еще и ненавидите! Где же справедливость?

– Господин Самуил, – строго возразила Христиана, – ведь это вы сами желали и добились, чтобы мы вас возненавидели. Что касается меня, то я хотела бы уважать вас. Вы безусловно наделены каким-то особенным могуществом. Почему бы, вместо того чтобы употреблять его во зло, вам не направить свои усилия к добру?

– Я охотно поступил бы так, сударыня, если бы вы растолковали мне, что есть добро и что есть зло. Есть ли зло в том, что мужчина встречает прекрасную женщину? Что он восхищенно созерцает ее красоту, любит ее грацией, белизной ее кожи, ее белокурыми волосами? Что волей-неволей он задумывается о счастье другого, того, кто обладает всеми прелестями ее тела и души? Взять хотя бы, к примеру, вас. Предположим, я вас люблю. Разве это зло? Но еще прежде меня вас полюбил Юлиус, и вы решили, что это добро. Однако из чего явствует, что одно и то же чувство, если оно исходит от него – добро, а если от меня – зло? Нет, добром надлежит признать все, чего желает душа и что позволяет природа. Почему сегодня вам нельзя полюбить человека, которого вы могли бы полюбить, встретиться он вам полтора года назад? Неужели вы станете утверждать, что добродетель так зависит от хронологии?

Христиана склонилась к ребенку и обняла его, как будто искала в материнской привязанности опору для своей женской стойкости. Обретя ее, она отвечала:

– Я не стану отвечать на ваши софизмы, сударь. Любить Юлиуса меня побуждает не только долг, но и свободный выбор сердца. Я не хочу любить никого другого.

– Вам хотелось бы любить только его? – переспросил Самуил, продолжая сохранять серьезную, учтивую мину. – О, вы совершенно правы, сударыня. Юлиус этого заслуживает. Он преисполнен всевозможных достоинств. Ему не откажешь в нежности, деликатности, преданности, уме. Это так же верно, как то, что ему не хватает предприимчивости, силы духа, воли к свершениям, энергии – всего того, чем наделен я. И разве вы можете не оценить всего этого или не видеть, что эти свойства мне действительно присущи? Не взыщите, что я не разыгрываю перед вами скромника, но скромность – лживая поза, я же никогда не лгу.

Так вот, я убежден, что, какой бы ужас я вам ни внушал, бывали минуты, когда вы мною восхищались. И Юлиус тоже; заметьте, хоть меня не было с вами во время вашего путешествия, вы в глубине души не сможете отрицать силы моего влияния на него, ведь при всей любви к вам он за этот год не раз – вы простите мне такое слово? – скучал без меня. Еще бы! Он же не умеет справляться с жизнью, это не он ее ведет, а она его. Видите ли, дело в том, что первейшее из всех мужских достоинств – воля. Без нее ум и доброта мало чего стоят. Вы иное дело, вам, женщине, не обязательно иметь волю, но тем необходимее для вас, чтобы ее имел тот, под чьим покровительством вы находитесь. Но этого вы в Юлиусе не нашли. Вот почему он ускользает от вас и сам не в силах вас удержать. Кроме влечения сердца, ничто не привязывает его к вам, я же владею его духом. Что до итога моих рассуждений, вот он: вы женщина, а Юлиус женоподобен. В этом суть положения. Поэтому Юлиус принадлежит мне... смею ли прибавить: по той же причине вы и сами...

– Довольно, сударь! – живо прервала его возмущенная Христиана. – Вам действительно не следует говорить таких вещей, если вы не хотите, чтобы я вспомнила о ваших прежних отвратительных выходках.

Но теперь уже и Самуил в свою очередь гневно выпрямился, бледный, мрачный, полный яростной угрозы:

– А кому из нас двоих, сударыня, больше пристало бояться, что бывшие распри оживут в памяти? С тех пор как я имел удовольствие свести знакомство с вами, прошло четырнадцать месяцев. Все это время я не думал о вас, не искал встреч с вами, не оскорблял вас. И тем не менее, имел несчастье внушить вам отвращение. За что вы меня так невзлюбили? Да ни за что, за пустяк: вам просто не понравился мой вид, лицо, улыбка – откуда мне знать? Гретхен наговорила вам дурного обо мне, вы настраивали против меня Юлиуса. Вы сами признаете, что все так и было. Волк оставил овцу в покое, коршун не причинил голубке никакого вреда. Нет, это голубка дразнила коршуна, это овца сама бросила вызов волку. Вы задели мою чувствительную струну – тщеславие. Вашим вызовом была ненависть ко мне, моим ответным – любовь к вам. И вы приняли вызов, соблаговолите вспомнить и об этом. Вы тотчас вступили в борьбу, задержав Юлиуса в Ландеке, когда я хотел увезти его в Гейдельберг. То была ваша первая победа, и за ней вскоре последовала вторая, куда более важная.

К вам на помощь явился суровый и могущественный союзник, барон фон Гермелинфельд, и он женил Юлиуса на вас не столько ради сына, сколько в пику Самуилу. Он сам вполне определенно признавался в этом. И вот я унижен, изгнан, побежден. Вы на целый год увлекаете вашего Юлиуса прочь, за тысячи льё от меня, вы истребляете самую память обо мне посредством поцелуев и ласк, в то время как отец тратит несметные средства, сооружая этот столь неприступный замок, этот рай, лишь бы мне, демону-искусителю, не было сюда хода.

Таким образом, ваша любовь, ваш брак, это путешествие, пожалуй, даже и ваше дитя, не говоря уж об этом замке с его двойным рвом и мощными укреплениями, равно как трехмиллионные расходы, – весь этот арсенал был изобретен, воздвигнут и пущен в ход чуть ли не исключительно во имя защиты от вашего смиренного собеседника и покорнейшего слуги.

Помнится, тринадцать месяцев назад вы меня упрекнули, что я нападаю на женщину. Но сейчас, сказать по чести, шансы, по меньшей мере, сравнялись. Ведь на вашей стороне один из самых могущественных людей Германии, да сверх того еще крепость с подъемным мостом!

Так вот, сударыня, я еще раз напоминаю: это вы объявили мне войну. С той минуты, как вы пожелали стать моей противницей, вы приняли вместе с тем и возможность оказаться побежденной. И вы будете побеждены, сударыня, побеждены так, как женщина может быть побеждена мужчиной.

– Вы так полагаете, сударь? – произнесла Христиана с высокомерной усмешкой.

– Я убежден в этом, сударыня. Есть вещи необходимые и неизбежные. Когда барон фон Гермелинфельд вздумал избавить Юлиуса от моего влияния, я не был ни раздражен, ни обеспокоен. Я знал, что он ко мне вернется, и ждал, только и всего. То же касается и вас, сударыня. Я подожду. Вот вы уже вернулись, вы теперь совсем близко. И скоро будете у меня в руках.

– Наглец! – пробормотала Гретхен.

Самуил повернулся к ней:

– Именно ты, Гретхен, первая возненавидела меня и понравилась мне первой. И хотя сейчас не ты моя главная забота и основную борьбу я веду не с тобой, я могу и хочу сделать так, чтобы ты послужила наглядным примером. На нем я покажу, как я умею укрощать тех, кто смеет на меня нападать.

– Укротить? Меня?! – воскликнула прелестная дикарка.

– Дитя! – усмехнулся Самуил. – Я мог бы сказать, что уже победил тебя. Признайся: кто из смертных за последний год чаще всех занимал твои помыслы? Уж не Готлиб ли? А может, кто-нибудь другой из местных парней? Нет, то был я. Ты моя, ты накрепко прикована ко мне – пусть страхом, ненавистью, какая разница? Когда ты засыпаешь, чье имя трепещет на твоих устах? Мое! А когда просыпаешься, что прежде всего приходит тебе на ум? Это уж больше не воспоминание о твоей матери, не молитва к Пречистой Деве – это мысль о Самуиле. Стоит мне появиться, и все твое существо приходит в смятение. Когда меня нет, ты ежеминутно ждешь меня. Вспомни, сколько раз, когда считалось, будто я уехал в Гейдельберг, твоя тревога заставляла тебя томиться этим ожиданием! Сколько раз ты прикладывала ухо к земле и тебе казалось, что там, в скале, слышится ржание моей лошади! Ни одна любовница так не ждет своего возлюбленного. Называй это как знаешь, любовью или ненавистью, я же называю это обладанием, и большего мне не надо.

Чем дальше он говорил, тем отчаяннее перепуганная Гретхен прижималась к Христиане:

– Это все правда, сударыня! Все, про что он толкует! Но откуда он знает? Боже мой, сударыня, неужели и вправду Демон овладел мною?

– Успокойся, Гретхен, – сказала Христиана. – Господин Самуил просто забавляется, играя двусмысленностями. Нельзя властвовать, внушая ненависть. Повелевают лишь теми, кто тебе отдается.

– Будь это так, – усмехнулся Самуил, – Наполеон не владел бы двадцатью провинциями, которые он завоевал. Ну да все равно! Я не из тех, кто отступает, когда ему бросают вызов, пусть и в такой форме, как это сделали вы. Так вы считаете, сударыня, что обладать можно лишь тогда, когда тебе отдаются? Что ж, идет! Вы мне отдадитесь.

– Презренный! – в один голос воскликнули Христиана и Гретхен, одновременно вскочив с мест, задыхаясь от гнева и обиды.

– Что до тебя, Гретхен, – продолжал Самуил, – чтобы твое наказание было скорым, а пример – впечатляющим, ты отдашься мне не позже чем через неделю.

– Ты лжешь! – закричала Гретхен.

– Я, кажется, уже говорил вам, что никогда не лгу, – бесстрастно отвечал Самуил.

– Гретхен, – сказала Христиана, – ты не будешь больше оставаться одна в хижине. Все ночи ты отныне должна проводить в замке.

– О, разумеется, замок для меня неприступен! – пожал плечами Самуил. – Но вы, по моему, упорствуете в заблуждении, якобы я намереваюсь прибегнуть к насилию. Повторяю еще раз: у меня нет нужды в средствах такого рода. Просто там, где Юлиус и ему подобные слюнтяи пускают в ход нежности, пленяют красотой или пользуются удобным случаем, если таковой подвернется, мне, как я полагаю, позволено воспользоваться моими знаниями, плодами упорного труда. Гретхен будет свободна распоряжаться собой, но я, вероятно, вправе

обратить в свою пользу ее тайные инстинкты, склонности ее натуры. Их я и возьму себе в союзники. И разве я не имею права разбудить любовные вожделения ее сердца, желание, дремлющее в глубине ее грез, наконец, разжечь в крови этой прекрасной дикарки тот необузданный огонь, что разливался по жилам ее матери, цыганки и потаскушки?

– А, негодяй, так ты еще оскорбляешь память моей матери! – вскричала Гретхен.

Она все еще сжимала в руке цветущую ветку, одну из тех, которыми только что кормила козу. В яростном порыве она наотмашь хлестнула ею Самуила по лицу.

Он побледнел, судорога бешенства на мгновение свела ему рот. Но он овладел собой и спокойно произнес:

– Потише, Гретхен, ты опять разбудила Вильгельма.

Действительно, малыш снова расплакался.

– А знаете, – в свою очередь заговорила Христиана, возмущенная этой сценой, – знаете ли вы, о чем он кричит? Он, крошечный, слабый, кричит о том, что мужчина, так оскорбляющий двух женщин, подлец.

На этот раз Самуил не выдал своих чувств даже таким мгновенным движением, какое только что вырвалось у него по отношению к Гретхен. Он остался невозмутимым, но его спокойствие напоминало то, каким он некогда отвечал на обличения Отто Дормагена.

– Прекрасно! – сказал он. – Вы обе нанесли мне оскорбление посредством того, что для каждой из вас наиболее дорого и свято: ты, Гретхен, использовала для этого цветы, вы, сударыня, – своего ребенка. До чего же вы неосторожны! Беда придет к вам тем же путем, какой избрали вы, пытаясь нанести мне обиду. Я предвижу будущее с такой ясностью, что как бы отмщен заранее, так что не могу даже сердиться. Мне жаль вас. До скорой встречи.

Он сделал рукой неопределенный жест – то ли прощальный, то ли угрожающий – и удалился скорыми шагами.

Христиана подумала минуту-другую, потом, передав Вильгельма Гретхен, сказала:

– Отнеси его в колыбель.

Затем с видом человека, который принял твердое решение, она поспешила к замку. Войдя, она направилась к двери кабинета Юлиуса и постучалась.

XXXIII

Вопрос

– Кто там? – спросил Юлиус.

Услышав голос Христианы, он сказал:

– Сейчас.

И ей послышалось, будто он тихо переговаривается с кем-то.

Минуту спустя он отворил дверь.

Христиана отшатнулась, ошеломленная: в комнате был Самуил.

Он приветствовал ее с неподражаемым хладнокровием.

– Как вы себя чувствуете, сударыня, после треволнений прошлой ночи? – осведомился он. – О Вильгельме я не спрашиваю: Юлиус только что сказал мне, что со своей козой-кормилицей он превосходно освоился.

Христиана пыталась овладеть собой. Юлиус сказал ей:

– Ты, верно, удивлена, застав здесь Самуила? Я прошу у тебя милости для себя и для него и умоляю не сообщать отцу о присутствии здесь моего контрабандного друга. Я ведь исполнил обещание и не приглашал Самуила, но я его... как бы это сказать?... Встретил. Должен тебе признаться, что я просто не мог во имя надуманных предубеждений отца пожертвовать реальностью старинной дружбы. Моему отцу кажется, что Самуил погубит его сына, а я знаю, что он, может быть, уже спас моего.

Решительность и отвага возвратились к Христиане. Она сказала:

– Я всегда буду благодарна господину Самуилу Гельбу за помощь, которую он оказал нам как врач. Но, не преуменьшая той признательности, которой мы ему обязаны, я все же полагаю, что мы не менее обязаны и твоему отцу, Юлиус. Справедливо или по ошибке, господин фон Гермелинфельд был обеспокоен, и нам подобает уважать его чувства: разве мы вправе пренебречь его желанием, опечалить его? Если господин Самуил тебе действительно друг, ему не пристало настраивать тебя против отца. К тому же, говоря начистоту, твой отец не одинок в своем предубеждении против господина Самуила. Я человек прямодушный и никого не боюсь, – прибавила она, пристально глядя на Самуила, – а потому готова без уловок сказать то, что думаю. Я разделяю это предубеждение. Мне кажется, что господин Самуил Гельб пришел сюда лишь затем, чтобы омрачить наше счастье и нашу любовь.

– Христиана! – воскликнул Юлиус с упреком. – Самуил наш гость.

– Он тоже так считает? Он признает это? – спросила Христиана, поднимая на него гордый взгляд своих прозрачных глаз.

Самуил усмехнулся и ловко придал разговору галантный оборот, хотя за его любезностью явственно сквозила угроза:

– В гневе вы особенно пленительны, сударыня. Мне даже кажется, что это кокетство побуждает вас так часто делать вид, будто вы сердитесь на меня.

– Прости ее, Самуил, – сказал Юлиус. – Она еще совсем дитя. Христиана, мое сокровище, поверь, это не Самуил старается внедриться в наш дом, а я сам хочу сохранить нашу дружбу. Для меня очень важно не лишиться такого приятного общества, озаренного блеском остроумия и учености.

– Однако же ты мог обходиться без него целый год. Или в конце концов ты решил, что общество жены и ребенка для тебя недостаточно интересно?

Переглянувшись с Самуилом, Юлиус заставил Христиану сесть, сам устроился на низенькой скамеечке у ее ног и, сжимая ее руку в своих, заговорил:

– Послушай, поговорим серьезно. Я люблю тебя все так же, поверь, моя Христиана. Я по-прежнему счастлив моей любовью к тебе и горд твоей любовью ко мне. Ты единствен-

ная женщина, которую я когда-либо любил, и я заявляю в присутствии Самуила, что буду любить тебя вечно. Но, дорогая, подумай сама: ты, моя любящая жена, являешься вместе с тем и матерью, не так ли? Большая часть твоего сердца и твоей жизни принадлежит не мне, а ребенку. Что ж, и мужчина не может быть всегда только мужем своей любимой жены. Господь одарил нас не только сердцем, он дал нам еще и разум. Кроме нашей жажды счастья, он велел нам исполнять свой долг, помимо удовлетворения наших желаний, он нам послал вечную неудовлетворенность мысли. Ради самой нашей любви, Христиана, я хочу иметь право на твое уважение, хочу закалить дух, приумножить его силы, чтобы не превратиться в существо заурядное.

Я не допущу, чтобы моя жизнь, которая принадлежит тебе, погрязла в праздности. Я был бы счастлив с пользой послужить моему отечеству, но до сей поры я чувствовал себя пригодным только к воинской службе, а поступать на нее в эти бесславные для Германии времена мне бы не хотелось. Но пусть, по крайней мере, родина, очнувшись ото сна, застанет меня бодрствующим. Так вот, Самуил... Ну, раз уж ты в его присутствии говорила о нем дурно, я имею право столь же откровенно сказать о нем хорошо. Самуил мне необходим: благодаря самой противоположности наших характеров его присутствие не дает расслабляться моей воле. Вспомни, мы здесь живем уединенно, вдали от света, всеми забытые, погруженные в прошлое, почти за гранью мира живых. Нет, нет, я вовсе не жалею ни о Гейдельберге, ни о Франкфурте! Но когда хотя бы легкое дуновение живой жизни прилетает к нам, к чему запираяться от него на все засовы?

И ведь возможно, что настанет день, когда моя воля мне все же понадобится, не дадим же ей угаснуть! Разве все, что я сейчас говорю, не разумно? Вы с отцом оба во власти каких-то наваждений, навывдумывали насчет Самуила Бог весть чего. Если бы моя дружба с ним могла причинить вам какой-либо действительный вред или зло, я, разумеется, без колебаний распрощался бы с ним. Но в чем, собственно, вы можете его упрекнуть? Знаю: отцу не нравится его образ мыслей. Я не разделяю воззрений Самуила, однако и не могу приписывать себе такого умственного превосходства, чтобы вменять эти идеи ему в вину. Что до тебя, Христиана, то я вообще не понимаю, что тебе сделал Самуил?

Более не в силах сдерживаться, Христиана вскричала:

— А что если он оскорбил меня?

XXXIV

Два обещания

Юлиус вздрогнул и, бледнея, поднялся с места:

– Тебя оскорбили, Христиана? И ты не сказала мне ни слова? Разве я здесь не затем, чтобы защищать тебя? Самуил, что все это значит?

И он бросил на приятеля взгляд, сверкнувший, словно клинок шпаги.

– Предоставим даме объясниться самой, – отвечал Самуил безмятежно.

Однако его глаза при этом блеснули холодно, как сталь.

Христиана видела, как скрестились эти взгляды, и ей показалось, будто взгляд Самуила, словно смертоносное лезвие, пронзил грудь Юлиуса.

Она бросилась мужу на шею, как бы надеясь заслонить его собой.

– Говори! – отрывисто потребовал Юлиус. – Что произошло между вами?

– Ничего, – отвечала она, разражаясь слезами.

– Но что ты хотела сказать? Ты ведь имела в виду что-то определенное? Какое-то событие?

– Нет, нет, Юлиус! Ничего определенного, просто чувство, инстинкт...

– Так он ничего тебе не сделал? – настаивал Юлиус.

– Ничего, – прошептала она.

– И не сказал?

– Нет, – повторила она.

– О чем же тогда речь? – спросил Юлиус, в глубине души очень довольный, что может продолжать свою дружбу с Самуилом.

Самуил улыбался.

Помолчав и вытерев слезы, Христиана произнесла:

– Не будем больше говорить об этом. Однако ты мне только что сказал много очень важных вещей. Ты жалуешься на одиночество, и ты прав. Человеку, наделенному такими достоинствами, как у тебя, подобает находиться среди людей. Только женщинам пристало жить одной лишь жизнью сердца. Но я сумею любить тебя, ты увидишь! Я вовсе не хочу завладеть тобою целиком! Если ты хочешь посвятить часть своих сил и забот служению людям, будь уверен, что мне чуждо стремление присвоить эту часть себе. Так не будем же хоронить себя навсегда в этом замке: мы вернемся сюда когда-нибудь потом, если тебе этого захочется, если тобой овладеет жажда покоя. Поедем в Берлин, Юлиус, или отправимся во Франкфурт – словом, туда, где ты сможешь применить на деле твои выдающиеся способности, где ты заслужишь всеобщее восхищение, так же как здесь заслужил любовь.

– Моя дорогая крошка! – вздохнул Юлиус, обнимая ее. – Но что скажет мой отец, подаривший нам этот замок, если увидит, что мы словно бы пренебрегаем его даром?

– Что ж, – сказала она, – мы могли бы, не покидая замка надолго, время от времени наезжать в Гейдельберг. Ты часто рассказывал мне, какой подчас веселой и бурной бывает жизнь студентов. Ты, быть может, скучаешь по ней. Но ведь можно обзавестись в городе каким-нибудь пристанищем, нет ничего проще! И тогда ты бы мог возобновить свои занятия, увидеться с товарищами былых дней, посещать их пирушки, пользоваться большой университетской библиотекой...

– Это невозможно, милая Христиана. Как можно вести жизнь студента, имея жену и ребенка?

– Ты отвергаешь все, что я предлагаю, – на глаза молодой женщины снова навернулись слезы.

Самуил, стоявший все это время в стороне, приблизился и любезно заметил:

– Сударыня, Юлиус прав. Виконту, владельцу Эбербахского замка не дано снова стать студентом. Это так же верно, как то, что Ландек нельзя перенести в Гейдельберг. Но если вы пожелаете, Гейдельберг может сам явиться в Ландек.

– Что ты хочешь сказать?

– Я хочу сказать, что госпожа виконтесса могущественнее пророка Магомета, а потому гора может проделать немалый путь, направляясь к ней.

– Сударь, я вас не понимаю, – сказала Христиана.

Самуил продолжал чопорно, почти торжественно:

– Я надеюсь доказать вам, сударыня, что моя преданность безгранична. В настоящее время вы, насколько я понял, желаете, во-первых, чтобы Юлиус время от времени мог почувствовать вокруг себя кипение университетской жизни, серьезной и вместе с тем занимательной. Что ж, через три дня она закипит вокруг этого замка.

– А, так ты шутишь? – перебил Юлиус.

– Никоим образом, – отвечал Самуил, – и ты в этом скоро убедишься. Другая просьба, с которой вы обратились к Юлиусу, сударыня, была избавиться от меня. Моя персона вас раздражает, и вы хотели бы меня отсюда удалить. Что ж, и в этом отношении вы будете полностью удовлетворены. Насколько мне известно, ваша комната соседствует с этим кабинетом. Соболаговолите на минуту пройти со мною туда.

Он открыл дверь, и Христиана, поневоле подчиняясь, вышла из кабинета. Самуил последовал за ней.

– А мне, что же, нельзя вас сопровождать? – смеясь, осведомился Юлиус.

– Может быть, действительно стоит, – усмехнулся Самуил.

И Юлиус присоединился к нему и Христиане.

Самуил подвел Христиану к стенному панно, украшенному барельефом:

– Видите это панно, сударыня? А видите, здесь изображен император, и в правой руке у него держава? Возможно, настанет день, когда вы пожелаете меня видеть...

У Христианы вырвалось движение, ясно говорящее, что она в этом сомневается.

– Бог мой, кто знает? – усмехнулся Самуил. – Не стоит зарекаться: что только не случается на свете! Короче, если придет час, когда я смогу быть вам чем-то полезен, и потребуются меня уведомить об этом, вот что следует сделать. Подойдите к этому панно и нажмите пальцем на державу, что в руке у императора. Держава соединена с пружиной, а та – с колокольчиком. Звон колокольчика будет для меня сигналом. Буду ли я близко или далеко, я примчусь на ваш зов, сударыня. Появлюсь тотчас, если звонок застанет меня у себя, и не позднее, чем через сутки, если в это время меня здесь не окажется. Но до тех пор – заметьте это! – до той минуты, когда вы сами меня таким образом позовете, даю вам слово чести, что вы меня более не увидите.

Изумленная Христиана помолчала, потом обернулась к мужу:

– Что ты на это скажешь, Юлиус? Тебе не кажется несколько странным, что господин Самуил знает твой дом лучше, чем ты сам, и до такой степени освоился здесь, словно все это принадлежит ему?

Самуил отвечал:

– Смысл этой загадки я как раз начал объяснять Юлиусу, когда вы вошли. Простите, что этот разговор происходил в ваше отсутствие, но здесь заключен секрет, мне не принадлежащий: я не имел права открыть его никому, кроме Юлиуса. Но надеюсь, что за исключением этого я полностью удовлетворил ваши пожелания.

– Да, сударь, – отвечала Христиана. – И хотя между вашими словами и поступками чувствуется некоторое противоречие, я, прежде чем уйти, должна признаться, что хотела бы верить вашим словам.

– Вы убедитесь, что на все мои обещания можно положиться, – сказал Самуил. – Не пройдет и трех дней, и Гейдельбергский университет, подобно лесу в «Макбете», сам явится сюда. А меня вы увидите не раньше чем нажмете на державу.

Он проводил ее до дверей и раскланялся с отменным изяществом. На этот раз она не столь пренебрежительно ответила на его прощальное приветствие, поневоле заинтригованная обещаниями этого странного человека.

Самуил прислушался к ее удаляющимся шагам, потом вернулся к Юлиусу.

– Теперь, – сказал он, – вернемся в твой кабинет. Он устроен со всеми предосторожностями, там нас никто не услышит. Пора потолковать о более важных вещах.

XXXV

Двойной замок

Самуил запер дверь на ключ и возвратился к Юлиусу.

– Ну что? – сказал он. – Надеюсь, ты не станешь, как твоя жена, по пустякам изумляться, ужасаться и испускать крики? Я просил бы тебя не удивляться ничему. Сейчас пришло время *nil admirari*⁶, если вспомнить латынь, которую мы учили в коллеже.

– Хорошо! – с улыбкой откликнулся Юлиус. – Впрочем, с тобой я всегда предвижу сюрпризы и жду неожиданностей.

– Юлиус, дорогой мой, – продолжал Самуил, – прежде всего да будет тебе известно, что в твоё отсутствие я, по своему обыкновению, занимался всем понемножку: медициной, архитектурой, политикой, геологией, ботаникой и тому подобным. Если ты спросишь, что это значит – «немножко медицины», я тебе напомним, как мне удалось найти причину болезни твоего ребенка в его кормилице, чему ты сам был свидетелем. «Немножко архитектуры»? Образчик моего мастерства ты вскоре сможешь оценить и тогда признаешь, что как архитектор я стою не меньше, чем врач, по крайней мере если ты согласен, что воскресить мертвую эпоху – такое же чудо, как вернуть к жизни умирающего ребенка.

– О чем ты? Я тебя не понимаю, – сказал Юлиус.

– Ну, для начала покажу тебе еще один фокус наподобие того, что ты уже видел в соседней комнате, – промолвил Самуил, направляясь в угол библиотеки.

Там на резном деревянном панно красовалось изображение льва с широко разинутой пастью. Самуил придавил пальцем львиный язык, панно отодвинулось, взгляду открылась стена с выступающей из нее кнопкой. Самуил нажал на нее, и кусок стены повернулся, открывая проход, достаточно широкий, чтобы человек без труда мог им воспользоваться.

– А теперь следуй за мной, – обратился Самуил к ошеломленному Юлиусу. – До сих пор ты, счастливый владелец, знал свой замок лишь наполовину. Сейчас я покажу тебе другую.

– Мы должны войти сюда? – пробормотал Юлиус.

– Разумеется. Иди первым, мне ведь еще надо вернуть на место стену библиотеки и запереть дверь.

Юлиус вошел, дверь за ними закрылась, и они очутились в непроглядном мраке.

– Ничего не видно! – вскричал Юлиус, смеясь. – Что за дьявольское колдовство?

– Отлично! Ты немного удивлен, но вовсе не напуган. Так и надо. Дай мне руку. Хорошо. Я тебя поведу. Теперь сюда. Осторожнее, здесь начинается лестница. Держись крепче за эту веревку. Сто тридцать две ступени вниз. Ничего, спуск не труден: это винтовая лестница.

Так они спускались, ослепленные тьмой, вдыхая влажные холодные испарения глубокого подземелья, куда не проникал свежий воздух.

Когда насчитали сорок четыре ступени, Самуил остановился:

– Здесь первая железная дверь, – сказал он.

Отперев и снова заперев ее за собой, они двинулись дальше. Пройдя еще сорок четыре ступени, Самуил снова остановился:

– А вот и вторая.

Когда же наконец остались позади последние сорок четыре ступени и третья дверь открылась, в глаза Юлиусу внезапно ударил свет.

– Мы пришли, – сказал Самуил.

⁶ Ничему не удивляться (*лат.*).

Они оказались в круглом помещении, которое освещала лампа, подвешенная к потолку. Комната имела шагов десять в поперечнике. По стенам не было никакой деревянной отделки – голый камень. Под лампой стоял черный стол и несколько стульев.

– Давай присядем и поболтаем, – сказал Самуил. – У нас есть верных минут пятнадцать. Они придут не раньше двух.

– Кто придет в два? – спросил Юлиус.

– Сам увидишь. Я же просил тебя не удивляться ничему. Ну же, потолкуем.

И он сел; Юлиус последовал его примеру.

– Ты пока видел только часть того, что можно назвать вторым дном замка. Остальное мы осмотрим, как только вся компания будет в сборе. Однако и того, что ты успел увидеть, достаточно, чтобы заставить тебя предположить, что истинным строителем здесь был вовсе не тот архитектор, которого нанял твой отец. Должен признаться, что я принял некоторое участие в этом деле.

Бедняга-архитектор, состоящий на службе двора и правительственного кабинета, совсем не в ладах с готикой. Вот он и пришел в библиотеку Гейдельберга, чтобы порыться в старинных гравюрах. Можешь себе представить, как спасовал этот недотепа, только и умеющий, что расставлять, где прикажут, строеньица в греко-римском стиле, когда ему предложили воздвигнуть родовое гнездо, достойное Гёца фон Берлихингена! Он один за другим набросал несколько планов, при виде которых дружно содрогнулись бы и Эрвин фон Штейнбах, и Фидий. К счастью, я как раз в то время оказался там и убедил его, что мне якобы удалось откопать доподлинные чертежи Эбербахского замка. То-то он возликовал! И предоставил мне полную свободу действий, тем более что у меня были свои причины не трубить повсюду о собственном участии в этом строительстве. Моя скромная персона в лучах его славы была совсем незаметна. Таким образом, я от души позабавился, восстанавливая вплоть до мельчайших подробностей замок какого-нибудь пфальцграфа. Как ты находишь, удалось мне воскресить этого каменного Лазаря? Получилось сносно, не правда ли?

– Изумительно, – задумчиво протянул Юлиус.

– Архитектор, – продолжал Самуил, – знал из всего этого лишь ту часть, что при свете дня величаво красуется наверху. Благодарение Богу, он не мог находиться здесь постоянно, этот милый человек, ему же еще надо было строить во Франкфурте свои беленькие четырехугольные детища. А поскольку рабочие оставались в моем полном распоряжении, я и пользовался этим, не объясняя ему, как именно. Под предлогом, что будто бы надо укрепить основание замка и устроить надлежащие подвалы, я заставил каменщиков за мой счет выложить несколько лестниц и перегородок: «Так показано на старинных чертежах», – говорил я им. Мой ученый друг-архитектор ни разу ничего не заподозрил. Таким образом, занимаясь возведением замка, я на самом деле строил не один замок, а два: один, видимый всем, на поверхности, другой внизу, под землей. Как видишь, я не бахвалился попусту, когда сказал тебе, что в твое отсутствие немного подзанимался архитектурой.

– Но с какой целью ты делал все это? – спросил Юлиус.

– Чтобы немножко заняться политикой.

– Как так? – пробормотал его собеседник, чувствуя, что им овладевает странное смещение.

С суровым видом Самуил отвечал:

– Юлиус, по-моему, ты до сих пор не удосужился спросить меня о делах Тугендбунда. Похоже, ты о нем и думать забыл? Где, скажи, тот прежний Юлиус, кого приводила в благоговейный трепет мысль о свободе и благе отечества, кто так восставал против чужеземного гнета и в любую минуту был готов пожертвовать жизнью во имя правого дела? Ну да, знаю, это банальная история: студенты, окончив курс, часто оставляют в стенах университета свою

молодость, возвышенные стремления, великодушные помыслы – короче, свою бессмертную душу.

Все это вместе с какой-нибудь старой забытой трубкой остается валяться где-нибудь на краю стола в зале, куда сходились на теплую встречу лисы. Тот, кто еще недавно почитал ниже своего достоинства ответить на поклон обывателя, сам становится обывателем, женится, плодится, проникается почтением к знати, преклоняет колена перед властями и приходит к убеждению, что его прежняя решимость сражаться за благо человечества и независимость родной страны была всего лишь смешным ребячеством. Но я думал, что мы предоставим такого рода метаморфозы стаду посредственностей, я считал, что есть еще в подлунном мире избранные сердца, способные сохранить верность своему высокому предназначению. Юлиус, ты все еще с нами? Да или нет?

– Я ваш навсегда! – вскричал Юлиус, и глаза его засверкали. – Только нужен ли я вам еще? Ох, Самуил, пойми же: если я не заговаривал с тобой о Тугендбунде, причиной тому было не равнодушие, а угрызения совести. В день моей свадьбы состоялась ассамблея Союза, а я ее пропустил. Чего ты хочешь? Я был так счастлив, что забыл о своем долге. С тех пор сознание вины не покидает меня. Мне стыдно вспоминать об этом, меня мучает раскаяние. Я не говорил с тобой о Тугендбунде не потому, что больше о нем не думаю, совсем напротив – потому, что думаю слишком часто.

– А если бы я предоставил тебе случай не только оправдаться в глазах товарищей по Союзу, но и возвыситься? Заслужить не только прощение, но и благодарность?

– О, с каким восторгом я бы ухватился за такую возможность!

– Что ж! – сказал Самуил. – А теперь давай помолчим и послушаем.

В то же мгновение зазвонил колокольчик. Самуил не пошевелился.

Звон повторился во второй раз, потом в третий. Только тогда Самуил встал.

Подойдя к маленькой дверце, расположенной напротив той, в которую они вошли, он открыл ее.

Юлиус увидел лестницу. Она служила продолжением первой и, вероятно, выходила к подножию обрыва над Неккаром.

XXXVI

Логово льва

Почти тотчас в комнату вошли трое в масках. Первый из них нес факел.

Самуил отвесил им чрезвычайно почтительный поклон и указал на кресла. Но вошедшие застыли на месте, видимо удивленные присутствием Юлиуса.

– Господа, перед вами Юлиус фон Гермелинфельд, хозяин этого замка, – светским тоном сказал Самуил. – Он готов предоставить его в ваше распоряжение, пока же почитает своим долгом принять вас здесь как почетных гостей. Юлиус, это наши предводители, члены Высшего совета, они сегодня впервые явились сюда, дабы оценить убежище, которое мы для них приготовили.

Неизвестные в масках, скупыми жестами дав понять, что они удовлетворены объяснением, сели.

Самуил и Юлиус остались стоять.

– Легко ли господа отыскивали дорогу? – осведомился Самуил.

– Да, – отвечал один из троих. – Мы шаг за шагом следовали плану, начертанному вами, а он весьма точен.

– Эта комната, если она вам подходит, могла бы служить для ваших частных совещаний.

– Великолепно. Но были ли приняты все предосторожности, необходимые для нашей безопасности?

– Вы убедитесь в этом сами. Юлиус, помоги мне тянуть этот канат.

И Самуил указал на толстый канат, спускавшийся со свода у гранитной стены; он был сплетен и скручен из железных нитей.

Вдвоем повиснув на узле каната, приятели притянули его книзу примерно на фут, и Самуил зацепил его за торчавший из стены стальной крюк.

– Благодаря этому, – пояснил он, – только что открылись двадцать люков-ловушек на каждой из двух ведущих сюда лестниц. Как видите, три железные двери с крепкими запорами, которые там устроены, по сути, уже излишни. Теперь даже целой армии не удалось бы добраться до вас: для этого пришлось бы разве что пустить в ход артиллерию и разнести замок до последнего камня. К тому же на случай бегства здесь четыре выхода.

– Хорошо! – промолвил главный.

– А теперь, – продолжал Самуил, – не угодно ли взглянуть на большую залу для заседаний Генеральной ассамблеи?

– Мы здесь затем, чтобы осмотреть все.

– Тогда подождите, пока я закрою люки, – сказал Самуил.

Он отцепил кольцо от крюка, канат взметнулся вверх, и послышался глухой отдаленный грохот – это захлопнулись люки.

Потом Самуил взял факел, отворил дверцу, через которую вошли трое предводителей, и все пятеро стали спускаться по лестнице.

Пройдя два десятка ступеней, Самуил нажал на пружину, спрятанную в граните стены, и перед ними открылся вход в длинный прямой коридор.

Самуил предложил высоким посетителям последовать за ним туда.

Они шли минут пятнадцать, пока наконец не увидели какую-то дверь.

– Это здесь, – сказал Самуил.

Он отпер дверь, и его спутники оказались в обширной зале, высеченной в скале. Здесь свободно могли бы разместиться человек двести.

– Теперь мы уже не в подземелье под замком, – сказал Самуил. – Наши братья будут входить сюда со стороны горного склона и не узнают, что между этой залой и Эбербахским замком существует какая-либо связь. Я устроил все именно так, на случай если какой-нибудь Отто Дормаген донесет и место ассамблеи будет открыто. Таким образом хозяева замка останутся вне подозрений и не придется искать новое место для частных совещаний. Итак, теперь вы видели все. Подходит ли вам такое предложение? Вы довольны?

– Довольны и признательны, Самуил Гельб. Мы одобряем это убежище, так искусно устроенное и столь мощно защищенное. Отныне предводители братства станут вашими частыми гостями. Это уже вторая важная услуга, оказанная вами Союзу. Благодарим вас обоих.

– Нет, – сказал Юлиус. – Я не могу принять эту честь, она всецело принадлежит Самуилу. Я был бы счастлив разделить его замыслы и труды; я признателен ему за то, что он распорядился моим замком так, как я сам был бы рад им распорядиться. Но я был тогда в отъезде, и, следовательно, здесь нет никакой моей заслуги.

– Не отрицайте ее, Юлиус фон Гермелинфельд, – отвечал предводитель. – И примите нашу благодарность без колебаний, вы имеете право на нее. Самуил Гельб не смог бы подобным образом располагать вашим домом, если бы не был уверен в верности и величии вашей души. Вы оба много сделали для Союза и для Германии, и, чтобы достойно вознаградить обоих, мы присваиваем вам тот же ранг, что уже присвоили Самуилу Гельбу. Юлиус фон Гермелинфельд, отныне вы тоже адепт второй ступени.

– О, благодарю! – вскричал Юлиус, гордый и ликующий.

– Нам же остается лишь откланяться, – сказал предводитель.

– Я вас провожу, – предложил Самуил. – Юлиус, подожди меня здесь.

И он вывел посетителей через один из верхних ходов. Лошади, привязанные к деревьям, ждали их у выхода из подземелья.

Потом Самуил возвратился, чтобы забрать с собой Юлиуса.

Тот принялся с жаром благодарить его.

– Ба! – усмехнулся Самуил. – Разве я не сказал тебе, что занимался немножко и геологией? Только и всего. Однако не воображай, что, выдалбливая все эти пещеры, я опустошал кошелек твоего отца. Они обошлись тебе не слишком дорого, потому что уже были здесь. Вероятно, прежние владельцы замка вырыли их на случай осады. Эта громадная скала, подобно пчелиным сотам, вся пронизана коридорами и пещерами. Кстати, прими добрый совет: не вздумай бродить там один. Эти подземелья просто-напросто поглотят тебя, как губка – каплю воды. Для всякого, кто не изучил эти места так, как я, они полны ловушек: ты в два счета свалишься в какой-нибудь потайной люк.

– Теперь я понимаю, – сказал Юлиус, – почему ты мог обещать Христиане примчаться на ее зов. Где-то здесь у тебя есть своя комната?

– Да, черт возьми! Я здесь и живу. Хочешь, покажу тебе мои апартаменты?

– Хочу, – сказал Юлиус.

Самуил свернул в тот коридор, что заканчивался большой залой, и они с Юлиусом минут пять шли по нему.

Потом справа показалась дверь. Остановившись, Самуил ее отпер, и они, поднявшись на пятьдесят ступенек вверх, достигли обширной пещеры с настланным полом, разделенной на три части: жилую комнату, конюшню и лабораторию.

В комнате находилась кровать и еще несколько предметов самой необходимой мебели.

В конюшне лошадь Самуила, жуя, стояла над охапкой сена.

Лаборатория была загромождена ретортами, колбами, книгами, пучками высушенных трав. Видимо, почти все время Самуил проводил именно здесь. Из угла смешно и жутко скалился человеческий скелет. На печи стояли две стеклянные маски.

Того, кто вошел бы в эту таинственную пещеру, предварительно увидев где-нибудь, на какой-нибудь гравюре, келью рембрандтовского «Философа», должен был бы глубоко поразить этот контраст: сравнение столь мирного приюта, озаренного благостью веры и мягким сиянием заходящего солнца, с этим мрачным кабинетом, запрятанным под землю, окруженным тьмой вечной ночи, где так мертвенно-угрюмо мерцал огонь светильника.

Такому наблюдателю, верно, почудилось бы, что после сияния Божьего лика он видит кровавый отблеск адских углей.

– Вот мое пристанище, – сказал Самуил.

При виде этой лаборатории, походившей на старинное обиталище алхимика, Юлиус не смог подавить в душе какого-то мучительного и странного предчувствия.

– Однако, – продолжал Самуил, – ты уже давно не был на свежем воздухе. Без привычки, стоит задержаться здесь, и гора начинает всей своей тяжестью давить на плечи. Давай-ка я выведу тебя на свет Божий. Только подожди, пока я разожгу мой очаг и вскипачу кое-какие травы: я собрал их сегодня утром.

Покончив с этим, он сказал:

– Идем.

И Самуил в молчании повел Юлиуса вверх по лестнице, а она вскоре вывела их на ту, по которой они спускались. Тут Самуил заговорил снова:

– Обрати внимание на эти две двери. Запомни их хорошенько. Когда тебе придет охота меня навестить, отомкни то панно в библиотеке, спустись на сорок четыре ступени. Тогда и окажешься перед этими дверьми. Правая ведет в круглую залу, левая – ко мне. Вот тебе ключ. У меня есть другой.

Он проводил Юлиуса до самых дверей библиотеки. Там они простились, и Юлиус, с облегчением вдыхая вольный воздух и радуясь солнечному свету, сказал:

– До скорого свидания.

– Как тебе будет угодно. Дорогу ты знаешь.

XXXVII

Приворотное зелье

Самуил возвратился к себе в лабораторию.

Варево, которое он поставил на огонь, кипело. Он дал ему еще немного настояться, а сам, взяв ломоть хлеба и плеснув в кружку немного воды, стал есть, запивая хлеб водой.

Окончив трапезу, он достал пузырек, влил туда микстуру, и спрятал пузырек в карман.

Потом он взглянул на часы.

Было без четверти пять.

«У меня еще три часа в запасе», – сказал он себе.

И, взяв книгу, он погрузился в чтение. Иногда он откладывал ее в сторону и начинал что-то записывать.

Проходили часы, а он ни на миг не отрывался от работы, не делал ни единого лишнего движения, только переворачивал страницы и набрасывал свои заметки.

Наконец он отложил книгу, пробормотав:

– Пожалуй, сейчас самое время.

Снова вытащил часы:

– Половина восьмого. Отлично.

Он встал, прошел через конюшню в подземный ход и стал подниматься без факела по крутому откосу, не касаясь стен, так же ловко, как если бы прогуливался за городом при свете дня.

Затем он остановился и стал прислушиваться.

Убедившись, что кругом царит тишина, особым образом нажал на выступ скалы, тот повернулся, открыв проход, и Самуил вышел.

Самуил стоял теперь позади хижины Гретхен, на том самом месте, где рано утром он так удивил Христиану и Гретхен своим внезапным появлением.

Сумерки уже сгустились. Но Гретхен еще не пригнала своих коз.

Незванный гость подошел к дверям хижины. Они были заперты.

Он вытащил из кармана ключ, отпер и вошел.

В ларе лежала половина буханки хлеба – ужин Гретхен. Самуил взял хлеб, капнул на него три капли из пузырька, принесенного им с собой, и положил хлеб на прежнее место.

– Для первого раза, в виде подготовки, хватит и этого, – пробормотал он. – А завтра в это же время я вернусь и удвою дозу.

Он вышел и запер за собой дверь.

Но прежде чем снова нырнуть в свой подземный ход, он остановился и поглядел назад.

Теперь хижина Гретхен была слева от него, а справа высился замок, силуэт которого уже терялся в густых вечерних сумерках. Только окна ярко освещенных покоев Христианы сияли посреди темного фасада.

Мрачный огонь, словно молния, сверкнул в его глазах.

– Да, вы будете моими, вы обе! – воскликнул он. – Я войду в ваши судьбы, когда пожелаю, так же свободно, как вхожу в ваши жилища. Я истинный хозяин этого замка и этой скалы, а теперь я хочу стать и господином тех, кого можно назвать их душой, – темноволосой Гретхен, суровой и дикой, как эта зеленая лесная чаща, и белокурой Христианы, изысканной и великолепной, словно ее дворец – драгоценное создание искусства.

Я хочу! Теперь я уже и сам не мог бы отступить, даже при желании. Моя воля стала законом моей жизни и роком – вашей. Вы сами виноваты! Зачем ваша так называемая добродетель бросала вызов моей, с позволения сказать, безнравственности, борясь с ней и даже до сих пор, на вашу беду, побеждая? Почему ваша мнимая слабость презирала, оскорбляла

и, накажи меня Бог, даже ранила то, что я привык считать моей силой? Подумать только, ведь это продолжается уже больше года! Так могу ли я позволить себе потерпеть поражение в этой жестокой борьбе, где ваша гордыня противостоит моей? Я, привыкший в целом свете не страшиться никого, кроме самого себя, могу ли из-за каких-то двух детей отречься от моего самоуважения – последнего чувства, еще живущего во мне?

К тому же ваше поражение мне необходимо в той великой битве, которую я, подобно Иакову, веду с Духом Божьим. Мне надо доказать, что человек тоже может стать властителем добра и зла, чтобы, подобно Провидению и даже наперекор ему, повергать во прах самых непреклонных и вынуждать ко греху самых незапятнанных.

Наконец, может статься, что в любви, которой я требую от вас, таится секрет абсолютной истины. Сам Ловелас, гордец из гордецов, решился усыпить ту, которой хотел овладеть. Я же не усыплю тебя, Гретхен, напротив, ты пробудишься, ты познаешь самое себя! Маркиз де Сад, оригинал-сладострастник, в погоне за идеалом вечного духа беспощадно терзал бrenную плоть. Я же, причиняя тебе страдания, овладею не твоей плотью, а твоей душой, Христиана. И тогда посмотрим, сколь успешными окажутся мои небывалые опыты, эта алхимия свободной человеческой воли!

Однако, черт возьми, похоже, будто я ишу для моих действий какого-то оправдания и разумных причин? Еще чего! Я поступаю так, будь я проклят, потому что я таков как есть, потому, что это доставляет мне удовольствие и соответствует моей натуре: *quia nominor leo*⁷... А, вот и Гретхен возвращается домой.

Гретхен действительно приближалась, озаренная бледным светом звезд, гоня перед собой свое стадо. Она брела рассеянно, погруженная в задумчивость, низко склонив голову.

«Эта уже грезит обо мне!» – с усмешкой сказал себе Самуил.

В то же мгновение распахнулось окно в замке, и острый взгляд Самуила различил Христиану: опершись на перила балкона, она подняла свои прекрасные синие глаза вверх, к темнеющей лазури небес.

«А эта все еще помышляет только о Господе Боге? – подумал Самуил, кусая губы. – Ничего! Еще прежде, чем звезды в следующий раз взойдут на небосклон, я заставлю ее думать обо мне – о человеке, чьих сил хватило бы, чтобы за двадцать четыре часа перенести с места на место целый город или сломить живую душу.

И, резко повернувшись, он исчез в недрах скалы.

⁷ Потому что называюсь львом (*лат.*).

XXXVIII

Сердечные и денежные невзгоды Трихтера

На следующий день в десять утра Самуил явился в гейдельбергскую гостиницу «Ворон» и осведомился, дома ли Трихтер.

Слуга ответил утвердительно, и Самуил поднялся в номер своего дражайшего лиса.

Трихтер выказал большую радость и непомерную гордость той честью, что выпала ему на долю: подумать только, сам сеньор посетил его! От восторга он даже выронил из рук громадную трубку, которую только что раскурил.

За тот год, что мы не видели нашего друга Трихтера, он успел в некотором смысле расцвести. Казалось, его физиономия все это время бережно хранила неповторимый оттенок, приобретенный благодаря вину, поглощенному им в достопамятный день дуэли. Его лоб и щеки были столь багровы, будто он надел красную маску. Что до носа, для его описания потребовалась бы палитра самого великого Вильяма Шекспира, некогда поведавшего миру о носе Бардольфа. Подобно этому герою, Трихтер на месте носа имел сверкающий рубин, сиянием которого его благородный владелец мог бы освещать себе путь в ночи, благоразумно экономя на свечах.

– О! Мой сеньор здесь, у меня! – возопил он. – Если позволишь, я тотчас сбегая за Фрессванстом.

– Чего ради? – удивился Самуил.

– Чтобы он мог разделить мою радость и честь этого посещения.

– Ни в коем случае. У меня к тебе серьезное дело.

– Тем более! Фрессванст – мой закадычный друг и лучший из всех собутыльников. У меня нет от него тайн, и без него я не пускаюсь ни в какое предприятие.

– Говорю тебе, это невозможно. Мне нужно поговорить с тобой с глазу на глаз. Дай-ка трубку, будем курить и беседовать.

– Выбирай сам! – и Трихтер указал на длиннейший ряд трубок, развешанных на стене соответственно их размеру.

Самуил взял самую большую, набил ее и стал раскуривать.

Казалось всецело поглощенный этой процедурой, он поллюбопытствовал:

– Да, насчет Фрессванста. С каких это пор ты так его возлюбил?

– С той самой дуэли, – отвечал Трихтер. – Я его люблю как побежденного противника. Таскать его повсюду за собой – это для меня все равно что не расставаться с моей победой, ходить с нею рука об руку. К тому же, ей-Богу, это самый добрый малый на свете. Нимало не дует на меня за мое превосходство. Зато на Дормагена зол. Он его презирает за то, что тот тогда не дал ему двух капель твоей настойки, как ты предлагал. Он говорит, что ты спас мою честь, а Дормаген – не более чем его жизнь. Он ему никогда этого не простит. А как он тебя уважает! Ужасно завидует мне, что я твой лис. Быть же лисом Дормагена он больше не желает. И коль скоро место твоего лиса занято, он стал моим неразлучным другом, чтобы хоть так быть поближе к тебе. Мы с ним теперь сделались лисами-собутыльниками. Живем замечательно! Проводим дни, обмениваясь знаками взаимного расположения в форме все новых вызовов на приятнейшие застольные поединки. Заодно упражняемся на случай новой дуэли.

– Мне кажется, вы уж и так достаточно закалены в боях! – сказал Самуил, выпуская колечко дыма.

– О, то были сущие пустяки. Мы сильно продвинулись, ты бы удивился, если бы видел наши успехи. Тут уж поверь моему слову.

– Я верю твоему носу. Однако эти беспрерывные возлияния, должно быть, изрядно обескровили ваши кошельки?

– Увы! – Трихтер жалобно сморщился. – В том-то и горе, что, опустошая бутылки, вместе с тем быстро доходишь до дна кармана. За три первых месяца мы наделали таких долгов, что во всю жизнь не расплатиться. Зато теперь мы больше не клянчим взаймы.

– Это как же?

– Да просто никого не осталось, кто бы поверил нам в долг. Впрочем, мы теперь устроились так, что можем напиваться, сколько угодно, и ни пфеннига не платить.

– Гм-гм! – недоверчиво протянул Самуил.

– Тебе это кажется невероятным? Так слушай же. Вот наша тактика в двух словах: мы предлагаем пари. А поскольку мы всегда выигрываем, все расходы оплачивают зрители. Но даже этот благородный источник рано или поздно может иссякнуть. Увы, мы слишком непобедимы! Все меньше охотников держать пари против нас. Мы наводим страх. Какие же мы несчастные! Пьем мы так, что целый свет восторгается нашими подвигами. И тем не менее я чувствую, что близок злополучный день, когда не найдется больше ни единой души, готовой держать против нас пари. Платить станет некому, и что тогда делать? Что пить будем?!

Трихтер помолчал и добавил скорбно:

– А я так нуждаюсь в выпивке!

– Значит, ты очень любишь вино? – спросил Самуил.

– Да не вино само по себе, а то забвение, которое оно приносит.

– О чем же ты так хочешь забыть? О своих долгах?

– Нет, о своих поступках, – отвечал Трихтер, скорчив отчаянную гримасу. – Ах! Ведь я негодяй. У меня мать в Страсбурге, мне бы надо работать, чтобы помогать ей. А я, вместо этого, всегда сидел у нее на шее как последний подлец. Казалось бы, хоть после смерти отца я должен был стать для нее поддержкой, не так ли? Кто же еще, если не я? Так нет же! Я имел низость рассудить, что раз у меня есть дядюшка, ее брат, лейтенант наполеоновской армии, то пусть он и кормит свою сестру. Потом дядюшку убили, тому уж два года. У меня не оставалось больше никаких оправданий, и я сказал себе: «Ну все, прохвост, пора браться за ум!» Но дядюшка не в добрый час оставил нам небольшое наследство. Вот и вышло, что я, вместо того чтобы посылать матери деньги, повадился их у нее выпрашивать. И со дня на день откладывать исполнение своих благих намерений. Наследство было невелико, и мы его скоро проели. Тем скорее, что я почти все пропил, и не осталось ни крошки хлеба, ни капли вина. Как видишь, я отъявленный мерзавец. Я тебе все это рассказываю, чтобы объяснить, почему я пью: дабы заглушить угрызения совести. Я не хочу, чтобы ты принимал меня за обычного пьянчугу, за мерзкую губку для всасывания спиртного или за питейную машину. О нет, я не таков: пью, потому что страдаю.

– И каким же образом ты рассчитываешь выпутаться из всего этого?

– Понятия не имею. Как-нибудь. По-моему, все средства хороши. Ах! Если бы для того, чтобы у моей матери был кусок хлеба на старости лет, мне надо было умереть, я бы согласился с радостью.

– Ты это серьезно? – спросил Самуил, задумавшись.

– Серьезнее некуда.

– Такое не вредно знать, – заметил Самуил. – Я запомню твои слова. А пока почему бы тебе не обратиться к Наполеону? Ведь брат твоей матери погиб на его службе. Он умеет вознаграждать тех, кто верно служил ему, – это качество всех великих людей. Возможно, он даст твоей матери пенсион или устроит на какое-нибудь место, чтобы ей было на что жить.

Трихтер с надменным видом вскинул голову.

– Я немец! – заявил он. – Пристало ли мне просить о чем-то этого тирана, угнетателя Германии?

– Хорошо, ты немец, однако твоя мать родом из Франции, ты ведь сам когда-то говорил мне об этом?

– Да, правда, она француженка.

– В таком случае твоя щепетильность чрезмерна. Впрочем, об этом мы еще потолкуем. Сейчас самое главное расплатиться с твоими долгами.

– О, это безумная мечта! Я давно отказался от нее.

– Никогда не следует ни от чего отказываться. Об этом я и хочу с тобой поговорить. Кто самый свирепый из твоих кредиторов?

– Поверишь ли, это отнюдь не какой-нибудь трактирщик! – сказал Трихтер. – Трактирщики, напротив, уважают меня, берегут, заманивают к себе как редкостного и удивительного выпивоху, как некий живой образец совершенства, которого трудно достигнуть, и охотно демонстрируют публике этот достойный поклонения феномен. Мои пари приносят им несметные барыши, тем более что вокруг меня, разумеется, кишит целая толпа подражателей. Я в своем роде создатель школы. К тому же мое появление в погребе производит фурор, я придаю питейному заведению блеск, служу ему лучшим украшением. Один ловкач, устроитель балов, хотел даже нанять меня за тридцать флоринов в месяц с условием, чтобы ему было позволено вставлять в свои афишки с программой вечера три слова: «Трихтер будет пить!» Я решил, что мое достоинство велит отказаться, но в глубине души был польщен. Так что – нет, трактирщики меня не преследуют. Самый беспощадный из моих кредиторов – Мюльдорф.

– Портной?

– Он самый. Под тем предлогом, что он меня одевает уже семь лет, а я еще ни разу ему не заплатил, этот подлец прямо прохожу мне не дает. В первые шесть лет, стоило ему предъявить мне счет, как я тотчас заказывал ему новый костюм, обещая потом заплатить за все разом. Но вот уже год, как он вообще отказывается на меня шить. Однако мошеннику и этого мало, он имеет наглость самым дерзким образом изводить меня. Третьего дня, когда я проходил мимо его лавки, этот нахал забылся настолько, что, выскочив и преградив мне дорогу, принялся орать на всю улицу, что якобы все платье, что на мне, принадлежит ему, потому что я за него не заплатил. Не ограничившись одними словами, он даже позволил себе такой жест, будто хотел своей кощунственной рукой ухватить меня за шиворот!

– Неужели он осмелился так обойтись со студентом? До такой степени пренебречь священными привилегиями Университета?! – вскричал Самуил.

– Будь покоен, – сказал Трихтер. – Мой надменный взгляд вовремя осадил зарвавшегося наглеца. Я прощаю его. Могу себе вообразить всю ярость этого сангвинического бюргера, осатаневшего от долгого и тщетного ожидания кругленькой суммы. Ведь он даже не может подать на меня в суд, поскольку университетский закон запрещает обывателям давать займы студентам. К тому же, как я уже сказал, его возмутительное намерение не было осуществлено.

– Но он пытался! Нет, это уже более чем намерение! – не унимался Самуил. – Необходимо, чтобы Мюльдорф был наказан.

– Да, конечно, оно бы неплохо, но...

– Что «но»?.. Мой приговор таков: Мюльдорф должен выдать тебе расписку о погашении твоего долга и, сверх того, в качестве возмещения за убытки выложить крупную сумму. Тебе это подходит?

– Еще бы! Это просто великолепно. Но ты, должно быть, шутишь?

– А вот увидишь. Подай-ка сюда все что нужно для письма.

Трихтер смущенно почесал в затылке.

– Ну же! – повторил Самуил. – Чем мне писать?
– Видишь ли, – промямлил он, – у меня тут ничего такого нет. Ни чернил, ни пера, ни бумаги.

– Так позвони. В гостинице, должно быть, все это найдется.

– Не уверен, это ведь постоялый двор для студентов. Я, впрочем, никогда не спрашивал подобных вещей.

На звонок Трихтера явился слуга. Когда он сбегал за письменными принадлежностями и принес их, Самуил велел ему подождать и, присев к столу, написал следующее:

*«Любезный господин Мюльдорф,
Ваш доброжелатель рад сообщить, что Ваш должник Трихтер только что получил от своей матери пятьсот флоринов».*

– Кому письмо? Мюльдорфу? – спросил Трихтер.

– Ему.

– А что ты ему пишешь?

– В своем роде предисловие. Так сказать, пролог комедии. Или драмы.

– А-а-а! – протянул Трихтер, удовлетворенный, несмотря на то что ровным счетом ничего не понял.

Самуил запечатал послание, написал адрес и передал письмо слуге:

– Поручите это первому встречному стервятнику⁸, пусть отнесет. А вот ему монетка за труды. Да не велите ему говорить, от кого он получил это письмо.

Слуга ушел.

– А теперь, Трихтер, сию же минуту ступай к Мюльдорфу, – распорядился Самуил.

– Зачем?

– Чтобы заказать себе костюм.

– Но он же потребует от меня денег!

– Само собой, черт возьми! И тогда ты пошлешь его к дьяволу.

– Гм! Он, чего доброго, обозлится не на шутку, если я стану измываться над ним у него же в доме.

– А ты в ответ станешь оскорблять его, чтобы вконец вывести из терпения.

– Однако...

– Что такое? – сурово оборвал его Самуил. – С каких это пор мой дражайший лис позволяет себе возражения, когда его сеньор изволит говорить с ним? Когда я управляю тобой, тебе нет нужды рассуждать самому: если ты и не видишь, куда я тебя веду, на то есть мои глаза. Отправляйся к Мюльдорфу, веди себя с ним донельзя грубо и нагло и моли Бога, чтобы он на этот раз не удержался от того жеста, который он однажды чуть было не позволил себе.

– Неужели я должен стерпеть подобное оскорбление? – простонал уязвленный Трихтер.

– Ну, зачем же! На сей счет ты волен действовать, повинуюсь зову сердца, – подбодрил его Самуил.

– Тогда все в порядке! – вскричал Трихтер, охваченный воинственным пылом.

– Захвати с собой трость.

– Это уж непременно!

«Так начинаются все великие войны! – сказал себе Самуил. – И всегда из-за женщины! Христиана может быть довольна».

⁸ Уличный мальчишка. (Примеч. автора.)

XXXIX

А что он мог, один против троих?

Пять минут спустя Трихтер уже входил к Мюльдорфу, сдвинув шляпу набекрень, чванливый, готовый к ссоре и заранее разъяренный тем крайне неучтивым приемом, который он имел все причины ждать от портного.

Мюльдорф встретил его с самой любезной улыбкой.

– Соблаговолите же присесть, дорогой мой господин Трихтер! – воскликнул он. – Рад вас видеть!

– Рады? – спросил Трихтер. – Да вы знаете ли, что привело меня сюда?

– Догадываюсь, – отвечал портной, потирая руки.

– Я пришел заказать себе полный костюм.

– Чудесно. К какому сроку он вам требуется?

– Немедленно, – заявил Трихтер, обескураженный приветливостью портного, тщетно пытаясь сообразить, что происходит. – Чего вы копаетесь? Снимите с меня мерку.

Портной повиновался со всей возможной предупредительностью. Закончив, он сказал:

– В субботу костюм будет готов.

– Хорошо. Пришлите мне его с посыльным, – распорядился Трихтер, направляясь к двери.

– Вы уходите? – удивленно спросил Мюльдорф.

– А с чего бы мне здесь оставаться? – в свою очередь удивился Трихтер.

– Я и не прошу вас остаться. Но надеюсь, что вы мне кое-что дадите.

– Что именно?

– Флоринов сто в счет заказа.

– Добрейший Мюльдорф, – возразил Трихтер, – вы сегодня были со мной слишком любезны и слишком мило снимали с меня мерку, чтобы я мог ответить вам так, как уважающий себя студент должен отвечать на столь пошлые требования. Воспоминания о костюмах, которые вы успели мне сшить за последние семь лет, и предвкушение удовольствия от того нового, что вы обещали изготовить к субботе, побуждают меня сдержать законное возмущение. Я вас прощаю.

– Простите и платите, – сказал Мюльдорф, протягивая руку.

Трихтер с чувством пожал руку портного.

– Если угодно, могу отплатить вам рукопожатием, – заявил он. – Но денег у меня нет. Ни пфеннига.

И он шагнул к выходу.

Мюльдорф преградил ему путь.

– Ни пфеннига?! – закричал он. – А как же те пять сотен флоринов, что прислала ваша почтенная матушка?

– Пятьсот флоринов? От моей матери? – повторил Трихтер. – Ах, что за прелестная фантазия! Мюльдорф, у вас прорезалось остроумие.

– Стало быть, – кричал Мюльдорф в ярости, сдерживать которую был уже не в силах, – вам мало того, что вы не заплатили ни гроша по своим прежним счетам? Вы еще являетесь ко мне в дом и насмехаетесь надо мной, заказывая новые костюмы?

– Стало быть, – откликнулся Трихтер, тоже начиная возбуждаться, – вы хотели посмеяться надо мной, когда встретили меня так почтительно и так услужливо снимали с меня мерку?

– Итак, – взвизгнул Мюльдорф, хватая с конторки письмо Самуила и в бешенстве суя его под нос Трихтеру, – это письмо всего-навсего розыгрыш?

– Итак, – взревел Трихтер, бросая злобный взгляд на письмо, – вы обещали мне полный костюм к субботе не из уважения, не ради той неоценимой чести, которую я вам оказываю, одеваясь у вас, а всего лишь потому, что вообразили, будто мои карманы набиты деньгами?

И он потряс в воздухе своей кованой тростью.

Однако и Мюльдорф в свою очередь сжал в кулаке портновский аршин.

– Речь уже не о том, что я буду шить вам костюмы! – завопил вконец выведенный из себя кредитор. – Теперь разговор о тех, которые я для вас уже сшил! Вы должны заплатить за них или возвратить их мне обратно!

И он стал наступать на Трихтера с поднятым аршином.

Но не успел Мюльдорф замахнуться на студента аршином, как трость Трихтера всей тяжестью обрушилась на него.

Мюльдорф издал вопль, резко отпрянул назад, высадив двойное стекло своей витрины, и вновь кинулся на Трихтера, чья трость так и свистела в воздухе.

На крики портного прибежали двое соседей – колбасник и сапожник.

Благородный Трихтер, не уstraшившись численного превосходства противника, продолжал орудовать тростью и выбил сапожнику глаз. Но вдруг он ощутил боль в левой икре – этой раны он не мог ни отразить, ни предвидеть. То пес колбасника, поспешив на помощь своему хозяину, впился зубами в ногу его врага.

Трихтер инстинктивно нагнул голову, чтобы посмотреть, что с его икрой. Воспользовавшись этим, его противники бросились на студента втроем и вышвырнули за дверь.

Пинок был так силен, что доблестный Трихтер кубарем скатился в уличную канаву и забарахтался там вместе с псом: похвальное рвение не позволяло тому выпустить из пасти добычу.

Столь энергично выдворенный вон, Трихтер успел только размахнуться своей тростью так, словно то был топор, и окончательно расколотить витрину. Но, уже падая, он успел заметить в дальнем конце улицы двоих лисов.

– Собратья, ко мне! – закричал он что было сил.

XL Verruf⁹

Теперь надобно с приличествующей случаю лаконичностью поведать читателю о последовавших событиях, столь же волнующих и стремительных, сколь важных для нашей истории.

Услышав призыв Трихтера, два прохожих лиса подбежали и высвободили собрата из собачьих зубов. Потом, без объяснений сообразив, в чем суть происшествия, они ринулись на приступ портновской лавки.

Разыгралась битва, сопровождаемая страшным шумом. Заслышав его, отовсюду стали сбегаться как соседи-ремесленники, так и студенты. Схватка грозила охватить все и вся, но тут подоспел полицейский дозор.

Трихтер с приятелями оказались таким образом между молотом и наковальней: впереди наступали лавочники, сзади наседала полиция. Как бы доблестно они ни оборонялись, такое положение делало всякое геройство безнадежным. Надо было отступать. Нескольким студентам удалось ускользнуть, но Трихтер и еще двое лисов были схвачены: крепкие руки стражников вцепились в них и поволокли в тюрьму.

К счастью, тюрьма находилась в двух шагах от места происшествия, а то не миновать бы новой драки. Со всех сторон уже начали стекаться группы студентов, было даже предпринято несколько попыток освободить пленников. Но полицейские, поддерживаемые лавочниками, отбили все атаки, и три лиса были благополучно посажены под замок.

Слухи об этой стычке и оскорблении, нанесенном Университету, не замедлили распространиться по всей округе. Не прошло и десяти минут, как все студенты узнали об этом. Аудитории опустели во мгновение ока, и даже самым уважаемым профессорам пришлось читать лекции сначала спиной своих убегающих слушателей, а потом и пустым скамьям.

На улицах собирались толпы. Подумать только: трое студентов арестованы за драку с обывателями! Все находили, что ситуация более чем серьезна и вызывает к отмщению. Было решено, что следует обсудить положение сообща, и толпы повалили к гостинице, где обитал Самуил. Обстоятельства стоили того, чтобы доложить о них королю.

Тот пригласил всех в громадную залу, уже знакомую читателю, ибо в начале нашего повествования именно там происходила теплая встреча лисов. Председательствовал на этом сборище Самуил собственной персоной, но право высказать свое мнение имел каждый из присутствующих.

То была достопамятная сходка, настолько далекая от парламентской учтивости, насколько возможно. Само собой разумеется, все старались перешеголять друг друга грубостью, лихорадочной возбужденностью и яростной чрезмерностью своих предложений. И каждый новый призыв к мщению толпа встречала бурными рукоплесканиями.

Один субъект из числа замшелых твердынь предложил даже поджечь лавку Мюльдорфа.

Какой-то зяблик навлек на себя взрыв всеобщего гнева и был вышвырнут вон с гиканьем и свистом, ибо осмелился допустить, будто можно было бы ограничиться только требованием уволить полицейских, арестовавших Трихтера и его почтенных соратников.

– Ну, мы им припарку приложим куда следует! – вопил кто-то из золотых лисов. – И мы добьемся, чтобы все полицейское начальство вышвырнули в отставку, хотя этого еще будет мало!

⁹ Отлучение (нем.).

Хор восклицаний, выражающих единодушное одобрение, взревел в ответ.

Затем посыпались предложения все более свирепые и причудливые. Кто-то требовал за преступление Мюльдорфа наказать всех портных города: надо, кричал он, собрать нищих со всей округи и заставить портных бесплатно шить им одежду, пока не кончатся запасы ткани в их лавках.

Еще один, чью речь даже хотели напечатать, утверждал, что все предложенное ранее не даст университетскому братству полного удовлетворения, поскольку в деле замешан не только портной, там были еще башмачник и колбасник, притом они задали студентам взбучку не в качестве именно портного, колбасника и башмачника, но как бургеры, выразив тем самым естественную вековую ненависть этого сословия к студиям, из чего следует, что и мстить надобно всем бургерам без исключения, а не одним лишь портным, колбасникам и башмачникам, так что единственный способ всерьез отстоять честь Университета – незамедлительно подвергнуть разграблению весь город.

Дискуссия не затухала, напротив, разгоралась все сильнее, благо пылающие мнением умы присутствующих непрерывно подбрасывали новое топливо, не давая пожару страстей угаснуть. Но вот со своего места поднялся Самуил Гельб.

Тотчас воцарилось глубокое молчание, и в этой почтительной тишине председательствующий заговорил так:

– Дорогие собратья! Господа!

Здесь были высказаны мысли столь превосходные, что Университету не оставалось бы ничего иного, как только выбрать из предложенных разнообразных способов отмщения то, что своим великолепием превосходило бы все прочие. Однако да позволят мне достопочтенные предыдущие ораторы обратить их внимание на одно скромное обстоятельство. Не находите ли вы, что перед нами стоит задача, быть может, даже более неотложная, чем мстить нашим недругам...

– Слушайте! Слушайте! – раздались возгласы с мест.

– Прежде чем мстить врагам, надо спасти наших друзей! – провозгласил Самуил, и бурные аплодисменты были ему ответом. – Вспомните: пока мы здесь предаемся словопреениям, трое наших собратьев томятся в тюрьме. Они ждут нашей помощи, они недоумевают, видя, что мы не спешим к ним на выручку, они уже вправе усомниться в нашей дружбе!

– Bravo! – взревели голоса. – Верно говорит! Он прав!

– Возможно ли?! Уже полчаса как три студента сидят под замком, и их все еще не освободили!

Он сделал паузу, оценил глубокое впечатление, произведенное на толпу его речью, и продолжал:

– Начнем же с их спасения, прочим мы успеем заняться потом!

– Правильно! Прекрасно! Слушайте! – прокатилось по залу.

– Наш долг – открыть перед ними ворота тюрьмы, чтобы наши друзья могли бок о бок с нами насладиться расправой над их оскорбителями! – заключил оратор под громовые крики одобрения.

Собравшихся охватило лихорадочное возбуждение. Услышав призыв к действию, студенты бросились вооружаться чем попало, будь то колья, железные прутья или деревянные бруссы.

Не прошло и пятнадцати минут, как осада тюрьмы началась.

Все это произошло так быстро, что нападение застало власти врасплох. Они даже не успели усилить тюремную охрану: кроме обычных часовых, там никого не оказалось. Заметив толпу студентов в момент, когда она повалила из-за угла улицы, начальник караула велел запереть ворота. Но что могла сделать дюжина солдат против добрых четырех сотен нападавших?

– Вперед! – крикнул Самуил. – Надо спешить, пока не подошло подкрепление!

И он, возглавив группу студентов, вооруженных громадным брусом, первым ринулся к воротам.

– Огонь! – скомандовал начальник караула, и град пуль посыпался на осаждающих.

Но студенты не отступили ни на шаг. Раздалось несколько pistolетных выстрелов. И тотчас, прежде чем охрана успела перезарядить ружья, два десятка брусьев и бревен стали яростно таранить ворота тюрьмы. Ворота подались.

– Смелей, ребята! – кричал Самуил. – Еще напор, и мы внутри! А ну, обождите.

Он оставил брус и, схватив железный лом, подсунул его под ворота. Десятка полтора лисов последовали его примеру, и ворота слегка приподнялись.

– Теперь на приступ! – закричал Самуил.

Раздался грохот двух десятков брусков, таранящих ворота, и те тотчас с шумом рухнули.

Второй залп грянул навстречу студентам. Но Самуил уже ворвался во двор тюрьмы.

Один из солдат прицелился в него, однако Самуил прыжком, достойным пантеры, кинулся на врага, и караульный, получив удар лома, свалился бездыханный.

– Оружие долой! – приказал Самуил страже.

Но приказ уже не был нужен. Толпа студентов, следом за ним вломившись во двор, так затопила его, что караульным в этой толчее стало невозможно пошевелиться, а не то что вскинуть ружье для выстрела.

Кроме солдата, убитого Самуилом, на земле валялись еще трое более или менее серьезно раненных pistolетными пулями. Среди студентов семь-восемь человек тоже пострадало, но, к счастью, довольно легко.

Разоружив караульных, толпа поспешила к камерам, где томился Трихтер и его двое товарищей. Все они были тотчас освобождены.

Затем победители выломали все окна и двери, а потом ради забавы или, быть может, из похвальной предусмотрительности сделали попытку разнести тюрьму, тут и там нанеся зданию известный ущерб.

В то время как они предавались этим увлекательным упражнениям, пришло известие, что академический совет собрался и сейчас как раз судит зачинщиков бунта.

– Ах, так! – сказал Самуил. – Что ж, в таком случае и мы будем судить академический совет. Эгей! – закричал он во все горло. – Лисы и зяблики, станьте на страже у тех ворот, что ведут на улицу. Сейчас сеньоры проведут совещание.

Сеньоры собрались в приемной зале тюремного замка.

Самуил тотчас взял слово. На этот раз его речь была кратка и по-военному отрывиста, в манере Тацита. Шум погрома и отдаленный рокот барабанов служили ей приличествующим аккомпанементом, и ни один из двадцатилетних сенаторов, внимавших оратору, ни словом не прервал его.

– Слушайте! – говорил Самуил. – Нельзя терять ни минуты. Уже бьют сбор. Войска скоро будут здесь. Поэтому решение надобно принять немедленно. Мое мнение таково: нам предлагали все виды расправы, от поджога дома Мюльдорфа до разграбления города, и в каждом предложении есть своя привлекательность, это бесспорно. Но все это повлечет за собой столкновения с войсками, кровопролитие, гибель дорогих нам друзей. Не лучше ли было бы добиться чего-либо подобного, но без ненужных жертв?

Ведь какова наша цель? Проучить бюргеров. Отлично! Но есть способ наказать их куда страшнее, чем просто разбить несколько окон или поджечь пару построек. Мы можем за пятнадцать минут разорить весь Гейдельберг. Для этого нам достаточно уйти отсюда.

Вы подумайте: чем жив Гейдельберг? Только нашим присутствием! Кто кормит портных? Те, кто носит их платья. На ком держится благополучие башмачников? На тех, кто покупает их обувь. Кому колбасники обязаны своим процветанием? Тем, кто ест их колбасу!

Итак, стоит лишь отнять у торговцев их покупателей, а у профессоров – их студентов, и в тот же миг не станет ни профессоров, ни торговцев. Без нас Гейдельберг будет подобен телу, лишенному души. То есть мертвецу.

Торговец осмелился отказать студенту, желавшему приобрести его товар?! Прекрасно! Пусть в ответ на это все студенты предоставят торговцам без помех владеть своими товарами. Тогда увидим, чья возьмет! Один из них не пожелал обслужить одного из нас – что ж, теперь им некого станет обслуживать!

Мы можем преподать столь впечатляющий урок, что его занесут в летопись бургеншафта: пусть он послужит примером для будущих студентов и держит в страхе филистеров грядущих веков. Короче, я предлагаю массовый исход, эмиграцию всего Университета и Verruf городу Гейдельбергу!

Гром рукоплесканий заглушил последние слова Самуила.

Исход был одобрен единодушно, голосования не потребовалось.

XLI

Мудрость змия и сила льва

Сеньоры рассыпались среди толпы, спеша объявить всем о принятом решении, тотчас вызвавшим новые вопли восторга.

Условились, что остаток дня студенты потратят на сборы, но никому не станут говорить о своих планах, а город покинут ночью, спокойно, без шума, чтобы бюргеры, проснувшись, были застигнуты врасплох изумлением и угрызениями совести.

Когда все эти переговоры подошли к концу, прибежал запыхавшийся молоденький лис. Секретарь суда, приходившийся ему родственником и присутствовавший на заседании академического совета, сообщил юноше о его резолюции.

Она была такова: если студенты вздумают упорствовать, городское ополчение получит приказ открыть огонь, дабы подавить бунт силой, чего бы это ни стоило.

Если же бунтовщики угомонятся и вернутся к нормальной жизни, им будет объявлена амнистия – всем, кроме Самуила, который убил солдата и вообще, по-видимому, был зачинщиком всего этого беспорядка, ибо подстрекал к бесчинствам Трихтера, своего лиса-фаворита. Короче, во всем случившемся обвиняли только Самуила. Приказ об аресте был уже подписан, и для его поимки, вероятно, даже успели выслать отряд ополченцев.

При таком известии из всех глоток вырвался единый крик:

– Лучше драться, чем выдать нашего короля!

Трихтер был особенно хорош в своем благородном негодовании.

– Да что они себе вообразили? – кричал он. – Мы и волоску не позволим упасть с головы короля студентов! Он мой сеньор! Он освободил меня! Он Самуил Гельб, этим все сказано! А эти канальи из совета пусть только попробуют сунуться сюда!

И он встал перед Самуилом, яростно скаля зубы и ворча, словно верный пес.

Среди всей этой суматохи Самуил тихонько сказал что-то одному из студентов, и тот со всех ног побежал куда-то.

– К бою! К бою! – вопила толпа.

– Нет! – вскричал Самуил. – Никакого боя! Мы уже доказали свою храбрость, наши товарищи свободны, честь Университета спасена. Теперь же объявлен Verruf. Остается привести в исполнение наш вердикт, а для этого я вам не нужен.

– Как? Ты хочешь, чтобы мы позволили арестовать тебя? – в смятении спросил Трихтер.

– О, будь покоен, им меня не взять, – с усмешкой отозвался Самуил. – Я сумею и в одиночку ускользнуть от их когтей. Стало быть, мы обо всем договорились: завтра утром в Гейдельберге не останется Гейдельберга – он будет там, где буду я. Что до формальностей, которые надлежит соблюсти, покидая город, то Трихтер знает их наизусть не хуже, чем дуэльный «Распорядок». Я же отправлюсь вперед, чтобы заблаговременно приготовить жилища на нашем Авентинском холме. Когда вы явитесь, над ним уже будет развеяться знамя Университета.

– Где же это? – раздалось несколько голосов.

– В Ландеке! – ответил Самуил.

Толпа заволновалась, загудела:

«В Ландеке? Пусть будет Ландек!» – «А что это еще за Ландек?» – «Кто знает? Впрочем, наплевать: если даже Ландека нет на свете, мы его придумаем!» – «Ура! В Ландек!»

– Отлично! – сказал Самуил. – А теперь расступитесь, пропустите меня. Вон моя лошадь.

Студент, с которым он недавно шептался, теперь появился верхом. Он спешился, и Самуил вскочил в седло.

– А знамя? – напомнил он.

Тот, кто до сих пор был в этой толпе знаменосцем, передал ему университетское знамя. Самуил обернул его полотнище вокруг древка, прикрепил к седлу своей лошади, захватил две пары пистолетов, саблю и, крикнув «До свидания в Ландеке!», прищипорил коня и галопом умчался прочь.

На первом же уличном перекрестке он наткнулся на отряд полицейских, в беспорядке отпрянувших от копыт его лошади. Один из них, видимо, опознал его, так как послышалось какое-то восклицание и тут же несколько пуль просвистели мимо его головы. Самуил не привык оставаться в долгу: он обернулся и, не останавливаясь, разрядил в преследователей два из своих четырех пистолетов.

Полицейские были пешие, так что Самуилу коню хватило нескольких прыжков, чтобы очутиться вне пределов досягаемости. Пронесаясь вскачь по нескольким пустынным улицам, всадник вскоре галопом вылетел на большую дорогу.

Самуил спешил не напрасно: почти тотчас после его отъезда в город вошли войска.

Студентов тут же окружили, отрезав все пути к отступлению. Затем двенадцать полицейских агентов, охраняемые целым батальоном солдат, выступили вперед, и один из них с торжественным видом обратился к толпе. Он потребовал немедленной выдачи Самуила Гельба, обещая в этом случае амнистию для всех.

Студенты не оказывали ни малейшего сопротивления и безмятежно предлагали:

– Ищите.

Начались поиски. Они продолжались уже минут десять, когда прибыл посланец с приказом академического совета. Один из полицейских, на которых Самуил налетел на всем скаку, известил совет, что король студентов покинул город. Совет счел это бегство первой важной победой сил порядка и тем удовлетворился. Теперь от студентов требовали только одного: чтобы они мирно разошлись.

Их предупредили о том, что в противном случае будет применена сила. Толпа стала быстро редеть, и студенты спокойно разбрелись по своим квартирам.

Члены совета были настолько же восхищены, насколько озадачены столь быстрым умиротворением. К концу дня их изумление и восторг лишь усугубились: в городе было тихо. Ни единой скандальной выходки и ссоры, даже ни одного угрожающего слова! Казалось, студенты вдруг совсем забыли о ярости, бушевавшей их еще сегодня утром.

Наступила ночь. Бюргеры отошли ко сну, гордые своей победой. К десяти часам, как обычно, весь город уже сладко спал.

Однако в полночь, если бы кто-нибудь из жителей случайно проснулся, он увидел бы престранное зрелище.

XLII

Проклятие и исход

В полночь двери гостиниц, где жили студенты, по некоей таинственной причине вдруг стали открываться одна за другой. Оттуда выскальзывали темные фигуры – по двое, по трое, в одиночку... По большей части студенты отправлялись в путь пешком, некоторые верхом, а кое-кто и в экипажах. И все скопище их, разрастаясь с каждой минутой, под покровом ночи двинулось к площади перед зданием Университета.

Если на их пути попадался уличный фонарь, они осторожно, без шума снимали его со столба.

На Университетской площади люди уже стояли тесно, плечом к плечу, а толпа все продолжала прибывать. Черные силуэты, из которых она состояла, подходили друг к другу, обменивались рукопожатиями, перешептывались. Одна из самых подвижных и болтливых теней принадлежала Трихтеру. Во рту у нашего старого знакомого торчала огромная трубка, а на его руке повисла молоденькая стройная девица.

О женщины, неужели в самом деле имя вам – вероломство? Да, ибо эта девушка была Лолотта, прежняя подружка Франца Риттера. Победоносный Трихтер не только отнял у Дормагена его лису, но и Риттера лишил возлюбленной. Воспользовавшись размолвкой между этим ревнивцем и его своенравной кокеткой, он в один прекрасный день сумел вытеснить бывшего друга из ее сердца.

В два часа ночи Трихтер, приблизившись к кучке студентов, стоявшей чуть особняком, лаконично распорядился:

– Факелы!

Мгновенно вспыхнуло десятка два факелов.

Схватив один из них, Трихтер бешено замахал им у себя над головой, требуя тишины и внимания. Затем, повернувшись лицом к центру города, он суровым голосом торжественно провозгласил слова проклятия, воистину достойные стать в ряд с лучшими перлами античной поэзии:

– О город, будь проклят! Проклят! Проклят!

Ибо твои портные более не ценят высокой чести, что оказывают им студенты, позволяя их изделиям подчеркивать изящные формы студенческих тел!

Ибо твоим башмачникам уже мало того, что их сапоги приятно обрисовывают наши мускулистые щиколотки!

Ибо твои колбасники возмечтали об иной доле для своих свиней, удостоенных того, чтобы питать своими жизненными соками наши жилы, претворяясь в ту благородную кровь, чье кипение рождает в умах столь возвышенные мысли!

Ибо, вместо того чтобы платить нам за это, они вообразили, будто мы же еще им что-то должны!

Что ж, да будет так: пусть их платья, их башмаки, их мясо остаются при них! Пусть алчность приведет их к разорению!

Их сукна да послужат саваном их благосостоянию! Да истрепят они до дыр сшитые для нас башмаки, тщетно пытаясь сбыть свои товары, пусть даже их женам придется натянуть на себя сапоги! И пускай их колбасы, протухнув, принесут чумную заразу в их собственные дома!

Восплачьте же, бюргеры, обыватели, торговцы всех мастей! Отныне не будет вам ни дохода, ни веселья. Горе вам: больше вы уж не увидите, как мы проходим мимо ваших лавок, беззаботные, в разноцветных одеждах, бодро распевающие «Виваллера»! По ночам вы уж

не будете вскакивать, разбуженные грохотом булыжников, которые мы, забавляясь, бывало, швыряли к вам в окна! Мы не станем больше целовать ваших дочек! Плачьте же, бюргеры!

Особенно рыдайте вы, неблагодарные трактирщики! Всю надежду ваших кошельков мы уносим ныне на подошвах своих сапог! Вы сдохнете с голода: мы больше не будем раскупать ваши съестные припасы! Вы иссохнете от жажды: мы не станем больше пить ваши вина!

С этими словами Трихтер стремительным движением опустил свой факел и затушил его, ткнув в мостовую:

– Да погаснет жизнь Гейдельберга, как я гашу этот факел!

И остальные девятнадцать факелоносцев, повторив его жест, провозгласили:

– Да погаснет жизнь Гейдельберга, как мы гасим этот факел!

Наступил мрак.

Погашение факелов было сигналом к выступлению.

Толпа двинулась в путь, и скоро людской поток уже выплеснулся на дорогу, ведущую к Неккарштейнаху.

Само солнце, казалось, пришло в недоумение, когда его первые утренние лучи озарили это диковинное воинство. Там все было смешано самым причудливым образом, все клубилось и мелькало: мужчины, собаки, рапиры, трубки, топоры, женщины, лошади и кареты. Бледные, помятые физиономии, сонно мигающие глаза, растерзанная одежда студентов – все говорило об усталости. И каждый тащил с собой то, что было всего милее его сердцу или нужнее его телу: дорожные фляги с водкой, узелки с бельем – что угодно, но не книги. Все это напоминало то ли беженцев, спасающихся от вражеского наступления, то ли переселенцев.

В каком бы глубоком секрете ни готовилось бегство, оно не могло укрыться от гостиничной прислуги и нескольких ранних пташек из торгового сословия. Поэтому в хвосте процессии уже пристроилась вереница тачек и ручных тележек, груженных хлебом, мясом, всевозможными спиртными напитками и съестными припасами. Трихтер, шагавший впереди всех, обернулся и, заметив знакомого содержателя питейного заведения, про себе удовлетворенно хмыкнул, вслух же обронил как можно небрежнее:

– А, вот и маркитанты!

Однако не прошло и минуты, как он, под каким-то предлогом оставив иноходца, на которого взгромоздил Лолотту, пропустил вперед себя весь караван, двинулся навстречу трактирщику, приказал налить большой стакан можжевелевой настойки и, только осушив его, снова присоединился к своей подружке.

В Неккарштейнахе было решено остановиться и передохнуть. В дороге животы студизусов изрядно подвело, и провизии, привезенной из Гейдельберга, до которой они в силу настоятельной необходимости согласились в последний раз снизить, едва хватило, чтобы слегка утолить голод. Неккарштейнахским трактирщикам пришлось расстаться со всеми своими припасами вплоть до последнего цыпленка и последней бутылки вина.

Подкрепившись таким образом, студенты продолжали путь.

Часа через четыре они подошли к перекрестку.

– Ах ты дьявольщина! – воскликнул Трихтер. – Дорожка-то раздваивается. Куда теперь прикажете идти: направо или налево? Я в сомнении, словно Буриданов осел меж двумя торбами овса.

В эту самую минуту вдали послышался топот копыт. Облачко пыли, стремительно приближаясь, двигалось над той дорогой, что поворачивала влево. Мгновение спустя кое-кому уже удалось разглядеть всадника: то был Самуил.

– Виват! – завопило сборище.

– Куда теперь? – спросил Трихтер.

– Следуйте за мной, – ответил Самуил.

XLIII

Секреты ночи и тайны души

Чем же был занят Самуил со вчерашнего дня, с тех самых пор как он покинул Гейдельберг?

Накануне вечером он прискакал в Ландек часам к семи, то есть меньше чем через сутки после того, как он уехал оттуда.

Он еще успел пробраться в хижину Гретхен.

Вышел же он оттуда не более чем минут за пять до того, как пастушка пригнала своих коз домой. Она сделала это раньше обычного, не ожидая наступления ночи. С самого утра она ощущала необъяснимое недомогание, лишившее ее сна и аппетита. Весь день ее лихорадило. Девушка чувствовала какое-то нездоровое возбуждение и вместе с тем была совершенно разбита.

Подоив коз и отведя их в загон, Гретхен зашла к себе в хижину, но тотчас снова вышла: ей сделалось нехорошо, она нигде не находила себе места.

Душная июльская ночь грозила вконец истомить ее. Ни ветерка, ни единого освежающего дуновения – только стрекот кузнечиков, затаившихся во всех трещинах иссушенной зноем земли. Вся во власти тяжких противоречий, Гретхен томилась жаждой, словно эта измученная зноем почва, но пить ей не хотелось; дремотная тяжесть, разлитая в воздухе этой ночи, наполняла все ее существо, но она не могла уснуть.

Казалось, всю окружающую природу отягощает таинственное, темное сладострастие. В птичьих гнездах возня и трепыхание, постепенно затихая, сменялись любовно-дремотным безмолвием. Травы источали терпкое благоухание. С неба струился мягкий прозрачный туман.

Гретхен хотела вернуться в дом, но, охваченная оцепенением, продолжала сидеть на лужайке, сжав руки на коленях, устремив к звездному небу невидящий взгляд, хотя мысли ее витали неведомо где. Она терзалась и тосковала всем своим существом, сама не зная почему. Ей хотелось плакать. Казалось, слезы облегчили бы ее муку, и она отчаянно старалась вызвать их подобно тому, как раскаленная земля молит о капле росы. Она сделала над собой огромное усилие и наконец почувствовала, что меж ее воспаленных век проступает слеза.

Что ее особенно удивляло, так это одна неотвязная мысль, за последние часы вдруг овладевшая ею наперекор ее воле. Мысль, которую она старалась, но никак не могла прогнать. Гретхен думала о Готлибе, том молодом пахаре, что в прошлом году просил ее руки. Почему этот парень у нее на уме? Отчего она вспоминает о нем с мукой и отрадой – она, которой он всегда был безразличен?

Еще и месяца не прошло с тех пор, как Готлиб, встретив юную пастушку, робко спросил, не переменялись ли ее намерения, все ли еще ей ничто не мило, кроме одиночества. Она тогда сказала ему, что свобода стала ей еще дороже, чем раньше.

Готлиб пожаловался ей, что родители хотят заставить его жениться на Розе, девушке из их деревни. Гретхен не почувствовала ни малейшего укола ревности. Она с дружеской сердечностью посоветовала Готлибу уступить желанию родителей, и, нисколько не уязвленная ни в своих чувствах, ни в самолюбии, искренне радовалась, что этот славный малый сможет утешиться и познать счастье в союзе с другой.

После той встречи она несколько раз вспоминала о возможной женитьбе Готлиба, причем думала о ней с тем же неизменным удовольствием.

Отчего же теперь эта мысль внушает ей такие горькие сожаления? Почему ее охватывает невыразимое смятение, стоит лишь представить этого молодого человека в объятиях

другой женщины? Зачем образ Готлиба так неотступно преследует ее, и она напрасно пытается прогнать это наваждение, отмахиваясь от него так же тщетно, как от тучи назойливых мух?

А почему сегодня, вместо того чтобы, по обыкновению, гнать своих коз в горы или лесную чащу, она, напротив, все искала открытых полей, ее так и тянуло к опушке, поближе к равнине, где у Готлиба было несколько делянок? Зачем она целый день блуждала в тех местах? И отчего, когда Готлиб так и не появился, она почувствовала, как из глубины сердца поднимается смутная обида?

Тогда-то Гретхен и решила вернуться домой, не ожидая сумерек. Внезапно она вздрогнула: ей послышался голос Готлиба. Она оглянулась и в самом деле увидела его: он шагал по выбитой дороге, возвращаясь с поля домой. Но он был не один. С ним рядом шли отец Розы и сама Роза. Он протянул руки своей невесте и весело заговорил с ней. Гретхен, скрывшись за деревьями, осталась незамеченной.

Почему у нее больно сжалось сердце? Отчего она так и впилась в Розу ревнивым взглядом? Зачем жгучие тайны первой брачной ночи впервые в жизни приоткрылись ее умственному взору? С какой стати веселый смех Готлиба и горделивое довольство Розы мгновенно запечатлелись в ее памяти и теперь преследовали на каждом шагу? Почему то, чего она прежде желала, стало печалить ее? Как могло случиться, что она, никогда никому не желавшая зла, сидит здесь и глотает едкие слезы при мысли о чужом счастье?

На эти вопросы она не находила ответа.

Желая встряхнуться, прогнать наваждение, девушка поднялась. Ее сжигала лихорадка: веки горели, губы пересохли.

«Я просто хочу пить, – решительно сказала она себе. – Пить и спать».

Она вернулась в хижину, чиркнула огнивом и зажгла огонь в глиняном светильнике.

Потом она открыла шкафчик и достала ломоть хлеба. Но смогла проглотить только маленький кусочек. Есть совсем не хотелось. И потом, ей показалось, что вкус у хлеба какой-то странный. Впервые она это заметила еще вчера.

В углу ларя стоял про запас горшок с квашеным молоком. Гретхен схватила его и стала жадно пить...

Вдруг она замерла. Ей почудилось, будто простокваша необычно горчит. Но жажда была так нестерпима, что это ее не остановило. Она только пробормотала:

– Ох, я, похоже, совсем не в себе!

И девушка осушила горшок до последней капли.

Казалось, питье немного освежило Гретхен, и она прилегла, не раздеваясь, на свою постель, высланную папоротником.

Но ей не спалось. Вскоре она заметила, что возбуждение нарастает. Простокваша, выпитая ею, не только не утолила жажды, а, похоже, усилила ее. Гретхен задыхалась в этой тесной комнатухе, по ее жилам струился жар, голова пылала.

Не в силах больше терпеть, она поднялась, чтобы выйти на свежий воздух.

Подойдя к двери, она пошатнулась, наступив на что-то скользкое. Глянула себе под ноги и заметила какой-то блестящий предмет. Девушка наклонилась и подняла маленький пузырек. Он был не из золота или серебра, а из какого-то металла, какой она видела впервые.

Кто мог оставить здесь этот флакон? Ведь Гретхен, уходя, запирала свою хижину. Она была уверена, что ни разу не забывала делать это.

Флакон был пуст, но запах его содержимого не успел выветриться. Гретхен узнала его – это был тот самый запах, которым отдавали хлеб и простокваша.

Она растерянно провела рукой по волосам и прошептала:

– Я положительно схожу с ума. Прав был тогда господин Шрайбер. Нехорошо жить так, совсем одной. О Боже мой!

Девушка собрала все силы, заставляя себя опомниться и подумать. Она огляделась вокруг, и ей показалось, что стулья и стол сдвинуты со своих обычных мест: еще утром они стояли не совсем так. Значит, здесь все-таки кто-то побывал?

Она вышла из хижины. Солнце зашло уже больше двух часов назад, и воздух должен был, наконец, посвежесть.

Однако ей казалось, будто он стал еще горячее. Гретхен задыхалась, словно ее легкие были обожжены.

Она прилегла на траву, но и трава дышала нестерпимым зноем.

Тогда девушка растянулась на скале, но и голый камень был не прохладнее, чем земля. Он хранил жар солнца, подобно сковороде, что остается горячей, когда дрова в печи уже прогорят.

Что же такое она выпила? Похоже на приворотное зелье. И откуда взялась эта склянка?

Внезапно она содрогнулась всем телом. Воспоминание о Самуиле, до поры до времени вытесненное мыслями о Готлибе, пронзило ее мозг.

Самуил! Ну да, конечно же! Это наверняка он. И тотчас все суеверные страхи разом пробудились в ее душе. Нет никакого сомнения, что Самуил демон. Да, да, так и есть, он ведь угрожал ей, вот и держит слово: она попала в его сети, он околдовывает ее, а скоро явится сам, чтобы овладеть ею окончательно. Исчадию ада ведь ничего не стоит без ключа проникнуть в любой дом, ему запоры не помеха. Гретхен почувствовала, что гибнет.

И вот ведь какая дьявольская загадка: охваченная ужасом и отчаянием, она вместе с тем испытывала что-то похожее на восторг. Мысль, что демон вот-вот явится сюда и возьмет ее, доставляла девушке горькую отраду. В том, что Самуил придет, она не сомневалась и ждала его с нетерпением и страхом, не зная сама, какое из этих чувств сильнее. Одна половина ее сознания говорила: «Вот мне и конец!» А другая откликалась: «Тем лучше!» Нечто вроде опьянения, полного ужаса, навевало ей дикие фантазии. Она чувствовала, что стоит на краю бездны и адское головокружение становится все неодолимее. Ей уже не терпелось рухнуть в пропасть вечного проклятия.

На миг воспоминание о Готлибе еще мелькнуло в ее сознании. Но теперь его образ представился ей совсем иным. Он внушал уже не любовные грезы, а отвращение. Чего он от нее хотел, этот мужлан с толстыми грубыми лапами, неотесанный и неуклюжий, как его быки? Ей ревновать к Розе? Еще чего не хватало! Муж, любовник, который ей желанен, не деревенщина, чьи руки созданы для плуга, а юноша с ясным челом, с тонкими пальцами, со взглядом пронизательным и глубоким, молодой ученый, проникший в секреты трав, знающий средства, целительные для раненых ланей и страдающих душ, умеющий лечить и умеющий убивать.

Шорох чьих-то шагов заставил ее встать и вскочить на ноги.

Огромными, широко раскрытыми глазами она всмотрелась в темноту.

Перед ней стоял Самуил.

XLIV

С преступлением шутки плохи

При виде Самуила Гретхен, успевшая встать, отшатнулась, но, влекомая инстинктом более могущественным, чем ее воля, безотчетно протянула к нему руки.

Самуил же замер в неподвижности. При лунном свете он казался еще бледнее обычного. Его лицо не выражало ни насмешки, ни торжества, ни злобы: он был серьезен, даже мрачен. Гретхен он показался необычайно высоким.

Она все еще отступала к двери хижины, раздираемая противоречивыми чувствами, не в силах победить ни свой ужас, ни влечение. Ноги словно бы сами несли ее к хижине, но уста тянулись к Самуилу.

– Не приближайся ко мне! – закричала она. – Изydi, сатана! Ты мне страшен. Я тебя ненавижу и презираю, слышишь, ты? Именем Пречистой Девы заклинаю тебя: сгинь, нечестивец!

И она осенила себя крестным знаменем, повторяя:

– Не подходи! Не подходи!

– Я не приближусь к тебе, – медленно отчеканил Самуил. – Не сделаю ни шагу. Ты сама подойдешь ко мне.

– Ах, это возможно! – прошептала она в отчаянии. – Не знаю, чем ты меня опоил. Какой-то отравой, ты ее, верно, отыскал у себя в аду. Это был яд, не так ли?

– Нет, не яд. Это был сок некоторых цветов. Ты же так любишь цветы, и посредством цветов ты осмелилась оскорбить меня. Это был эликсир, в котором заключена мощь природы, способная пробудить дремлющие в человеке жизненные силы. Любовь спала в тебе, а я ее разбудил, только и всего.

– Значит, цветы меня предали! – горестно вскричала Гретхен.

Потом, устремив на Самуила скорее печальный, чем гневный взор, она промолвила:

– Видно, ты правду сказал. Говорила же мне моя матушка, что любовь – это страдание. Вот я и страдаю.

Она все еще старалась заставить себя уйти.

Самуил по-прежнему не шевелился. Он стоял так неподвижно, что его можно было бы принять за статую, если бы не глаза, горевшие в потемках жарким пламенем.

– Если ты страдаешь, – сказал он, – отчего бы не попросить меня, чтобы я тебя исцелил?

Эти слова Самуил произнес таким нежным, проникновенным голосом, что истерзанная душа Гретхен всеми фибрами отозвалась на его звуки. Она сделала шаг к нему, потом еще один и еще. Но вдруг отпрянула в ужасе:

– Нет, нет, нет! Не хочу! Ты страшный человек. Ты проклят. Ты ищешь моей гибели. Но тебе меня не поймать.

– Я уже сказал, – повторил он, – что не сделаю ни шагу в твою сторону. Ты же видишь, я не двигаюсь с места. Если бы захотел, я в три прыжка настиг бы тебя, разве нет? Но мне нужно, чтобы ты стала моей по доброй воле, и я этого дождусь.

– Хочу пить, – пробормотала Гретхен.

И, помолчав, шепнула покорным, ласкающим голосом:

– Это правда, что ты можешь меня исцелить?

– Пожалуй, что так, – сказал Самуил.

Выхватив из кармана складной нож, девушка раскрыла его и решительно шагнула к нему, вооруженная и оттого осмелевшая:

– Не прикасайся ко мне, а то я всажу в тебя нож. Ты только вылечи меня.

Но тут же – бедное дитя! – она отшвырнула нож далеко в сторону и воскликнула:

– Я совсем сошла с ума! Хочу, чтоб он меня лечил, а сама ему угрожаю. Нет, мой Самуил, я больше не буду тебе грозить. Смотри, я выбросила свой нож. Умоляю тебя... Ох, как болит голова! Я прошу у тебя прощения. Исцели меня скорее! Спаси меня!

Она упала к ногам Самуила и обняла его колени.

Это была поразительная картина: в бледном сиянии луны среди диких скал юная красавица с распущенными волосами в слезах извивалась у ног мужчины, недвижимого, словно мраморное изваяние. Самуил, скрестив руки, мрачно взирал на этот пожар бушующей страсти, зажженный им в крови невинного создания. Гретхен была вся объята невыразимым жаром: горячие искры вспыхивали в ее глазах, казалось роняя свои отсветы на смуглую кожу девушки. Она была дивно хороша в эти мгновения. Огонь страсти, пожирающий бедное дитя, был так жгуч, что Самуил почувствовал, как и сам поневоле начинает ощущать его. Лихорадка, сжигающая Гретхен, это пламя, обжигавшее ее изнутри и освещавшее снаружи, все глубже проникали в его кровь.

– Ах, ты вечно на меня злишься! – вскричала прекрасная дикарка. – За что ты ненавидишь меня?

– У меня нет к тебе злобы, – отвечал Самуил. – Я тебя люблю. Это ты меня ненавидишь.

– О нет, теперь уже нет! – отозвалась она с нежностью, поднимая к нему свое очаровательное лицо.

Но тотчас ее настроение переменилось, и она, ни секунды не помедлив, резко выкрикнула:

– Ты прав! Ненавижу тебя!

Она кинулась прочь, но, не пробежав и четырех шагов, без сил рухнула на землю, будто мертвая.

Самуил не шелохнулся. Он только позвал:

– Гретхен!

Она приподнялась на коленях и с немой мольбой протянула к нему руки.

– Ну же! Иди ко мне! – сказал он.

Она униженно подползла к нему и простонала:

– Я совсем без сил! Подними меня.

– Ты сама просишь об этом?

Он наклонился над ней, взял за руки и заставил встать.

– О, ты сильный! – сказала она так, словно бы гордилась им. – Дай-ка поглядеть на тебя.

Положив Самуилу руку на плечо, девушка слегка отстранилась, чтобы получше всмотреться в его лицо.

– Ты прекрасен, – промолвила она. – Похож на князя тьмы.

Каждое ее слово и жест были сейчас полны пленительной грации, в движениях появилась невероятная гибкость, в голосе – неотразимое очарование. В борьбе, что вела с самой собой эта бедная невинная душа, ужас все еще одерживал верх над соблазном. Но Самуил чувствовал, что хладнокровие покидает его: огонь, охвативший сердце жертвы, готов был пожрать самообладание искушителя.

Внезапно Гретхен обвила руками его шею и, привстав на цыпочки, прислонилась лбом к его щеке. Страсть, которую он распалил в ней, охватила теперь уже его самого, и он впился поцелуем в ее губы.

Это прикосновение заставило Гретхен содрогнуться. Порыв ярости мгновенно прогнал прочь сладострастное томление: сильно укусив Самуила в щеку, девушка вырвалась из его объятий и резко отскочила прочь с гневным гортанным возгласом. И туг же, мгновенно укрошенная, с трепетом подняла на Самуила смиренный взор, молящий о прощении:

– Я тебе сделала больно? Да?

– Нет! – отвечал он, внезапно оживая: теперь он больше не походил на мраморную статую. – Нет, я тебе благодарен. Такая боль сладостна. Там, где ужас сродни очарованию, где опасность пополам с блаженством, а ненависть сплетена с любовью, – да, только там душа соприкасается с бесконечностью. Я это и люблю в тебе.

– Что ж, тем хуже! – выкрикнула Гретхен. – Да, я тоже тебя люблю!

Она осеклась, потом прошептала:

– Ах, какой стыд! Я готова нарушить мой зарок! Нет, лучше умереть!

Стремительным, словно молния, движением она схватила свой нож, поблескивавший среди травы, и ударила себя в грудь.

Самуилу едва удалось вовремя удержать ее руку. Клинок не успел проникнуть глубоко, но кровь все же брызнула.

– Несчастное дитя! – пробормотал он, отнимая у нее нож. – Хорошо, что я не опоздал. Рана не опасна.

Гретхен, казалось, и не заметила, что ранена. Она смотрела прямо перед собой затуманенным взором, будто мысли ее блуждали где-то далеко. Потом провела ладонью по лбу, словно прогоняя забытие.

– Тебе больно? – спросил он.

– Нет, наоборот, стало легче. Разум вернулся ко мне. Я теперь понимаю, что надо сказать.

Она залилась слезами и, молитвенно сложив руки, заговорила:

– Выслушайте меня, сударь. Надо вам меня отпустить. Видите ли, нельзя совсем не иметь жалости. Ну вот, я у ваших ног. Вы победили, вы сильнее, и если пожелаете, я стану вашей. Так вот, пощадите меня! В милости ведь больше величия, чем в расправе. Ох, правда, я вас умоляю! Для чего вам быть жестоким со мной? Неужели вы погубите бедное создание, только чтобы на минутку потешить свое самолюбие? Подумайте, что со мной станет потом! Или вы боитесь, что когда опасность минует, я снова стану задира в вас? О, что вы! Это мне такой урок, что я никогда уж его не забуду. И даже могу сказать об этом госпоже Христиане. Как вы прикажете, я так и сделаю. Ну правда же, это все очень разумно, что я вам говорю? Вы сами видите, вам теперь нет никакой нужды меня больше терзать. Вы мне окажете милость? Я валяюсь у вас в ногах, что еще я могу сделать? Вы мужчина, а я пока даже не женщина, я всего лишь ребенок. Кто же станет принимать всерьез то, что говорят или делают дети? Разве ребенка можно губить за одно какое-то слово? О сударь, смилуйтесь!

Она была так окончательно повержена, такая душераздирающая мука звучала в ее голосе, что Самуил почувствовал себя даже растроганным. Его решимость была поколеблена, быть может, впервые в жизни. Вопреки собственной воле он смягчился при виде столь глубокого отчаяния этой целомудренной отшельницы, чью чистоту он собирался ради собственного тщеславия запятнать вечным и, может статься, смертельным позором. К тому же разве не была она уже достаточно укрощена, побеждена, унижена? Теперь она вся в его власти. Разве не призналась она сама, что полностью в его руках? Итак, он может проявить великодушие. Она всецело предалась ему, после этого зачем ее еще и брать?

К несчастью, Гретхен была уж очень хороша, да и зелье продолжало действовать. Отчаяние девушки мало-помалу превращалось в какое-то смутное лихорадочное томление. Она стала покрывать руки Самуила поцелуями, словно бы моля уже не о пощаде, а о чем-то совсем другом, и ее взгляд, обращенный к нему, наполнился влажным огнем соблазна.

– О, поторопитесь исцелить меня! – шепнула она с каким-то странным выражением. – А то будет поздно.

– Да, да, – пробормотал он, не сводя с нее жаркого хмельного взгляда, – я тебя вылечу! Сейчас же схожу за другим питьем, оно возвратит тебе покой, освежит кровь в твоих жилах. Я уже иду.

А сам, вместо того чтобы уйти, все смотрел на нее, такую прекрасную, объятую дремотным томлением, в сладострастном забытии льнущую к нему.

– Да, – шептала она, – ступай.

А сама, вместо того чтобы оттолкнуть, удерживала его за руку, не отпускала. Губы твердили: «Ступай же!», а взгляд просил: «Останься!»

Самуил сделал над собой отчаянное усилие.

– Неужели я больше не властен над самим собой? – пробормотал он. – Я покорил тебя, ты скажешь об этом Христиане. Этого довольно. К чему бесполезное злодейство? Прощай, Гретхен.

Он вырвался из ее рук и опрометью бросился к скале.

– Ты уходишь? – вскрикнула Гретхен жалобно и нежно.

– Да. Прощай же!

Но не успел Самуил скрыться в тени скалы и нырнуть в подземный ход, как трепетные руки обвились вокруг его шеи, жаркие уста прильнули к его губам, и он, теряя рассудок, в свою очередь почувствовал себя покоренным, бессильным противиться тому, что было следствием его же преступного замысла.

XLV

Христиана в страхе

На следующий день около четырех часов пополудни Юлиус и Христиана отправились на прогулку. Как только вышли из замка, Юлиус спросил:

– В какую сторону пойдём?

– Куда тебе угодно, – сказала Христиана.

– О, мне это безразлично, – отвечал Юлиус с ленивым равнодушием.

– Что ж, тогда поднимемся к Гретхен. Этим утром она так и не появилась. Пришлось послать служанку за ее козой. Я немножко обеспокоена.

Когда они достигли маленького плато, на котором стояла хижина, Христиана обернулась, чтобы полюбоваться долиной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.